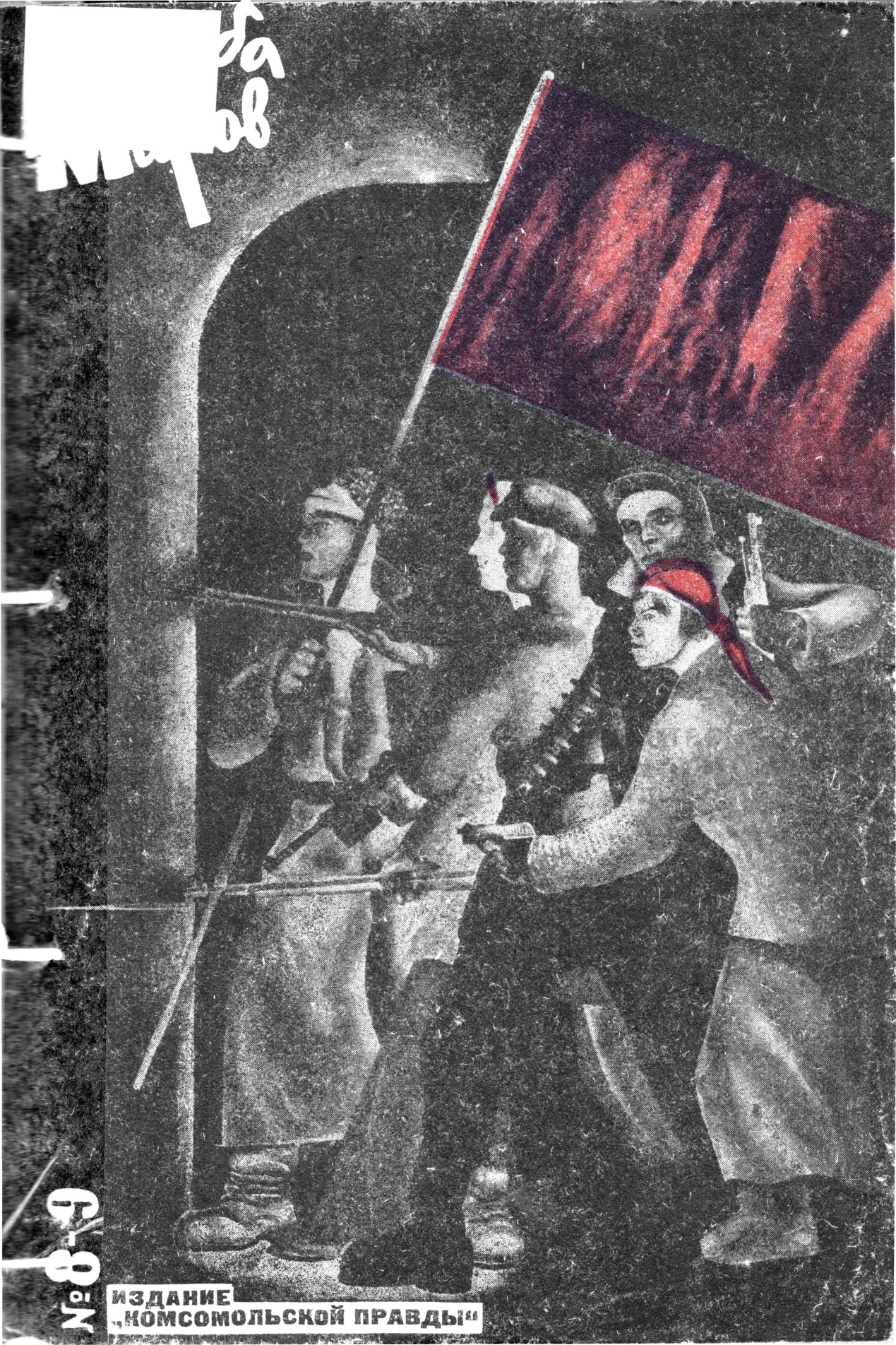


№ 8-9

ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ“

Рис. Анат. Васильева

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕГО МИРА, ВСТАВАЙТЕ НА ЗАЩИТУ
ПЕРВОЙ В МИРЕ СТРАНЫ СОВЕТОВ!

Борьба Миров

№ 8—9

АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ
1932 г.

ВЫХОДИТ
один раз в месяц

ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ“

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, Проспект 25 Октября, д. 3

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Стр.

О войне, о молодежи 3

Л. РАДИЩЕВ
Школа 7

Л. Дар
Детство—отрочество—юность 14

М. БРАММ
Краткая повесть о военкоме Егорове 23

АНРИ БАРБЮС
Я обвиняю 35

И. РАВСКИЙ
Невиданный дым 37

ДЖОН ДОС ПАССОС
Две главы из книги „1919 год“ 45

С. МАРВИЧ
Министр нажал кнопку 66

М. ИВАНОВСКИЙ
Жан Леон Жорес 76

СЕВЕРИН
Украденный мир 83

Иллюстрации в номере художников:

А. БЕСПЕРСТОВА,
А. ВАСИЛЬЕВА,
С. ВЕРХОВСКОГО,
Л. КАНТОРОВИЧА (обложка),
Б. МАРКИЧЕВА,
В. МУРЕТОВА, М. ТАРАНОВА,
В. СВЕШНИКОВА.

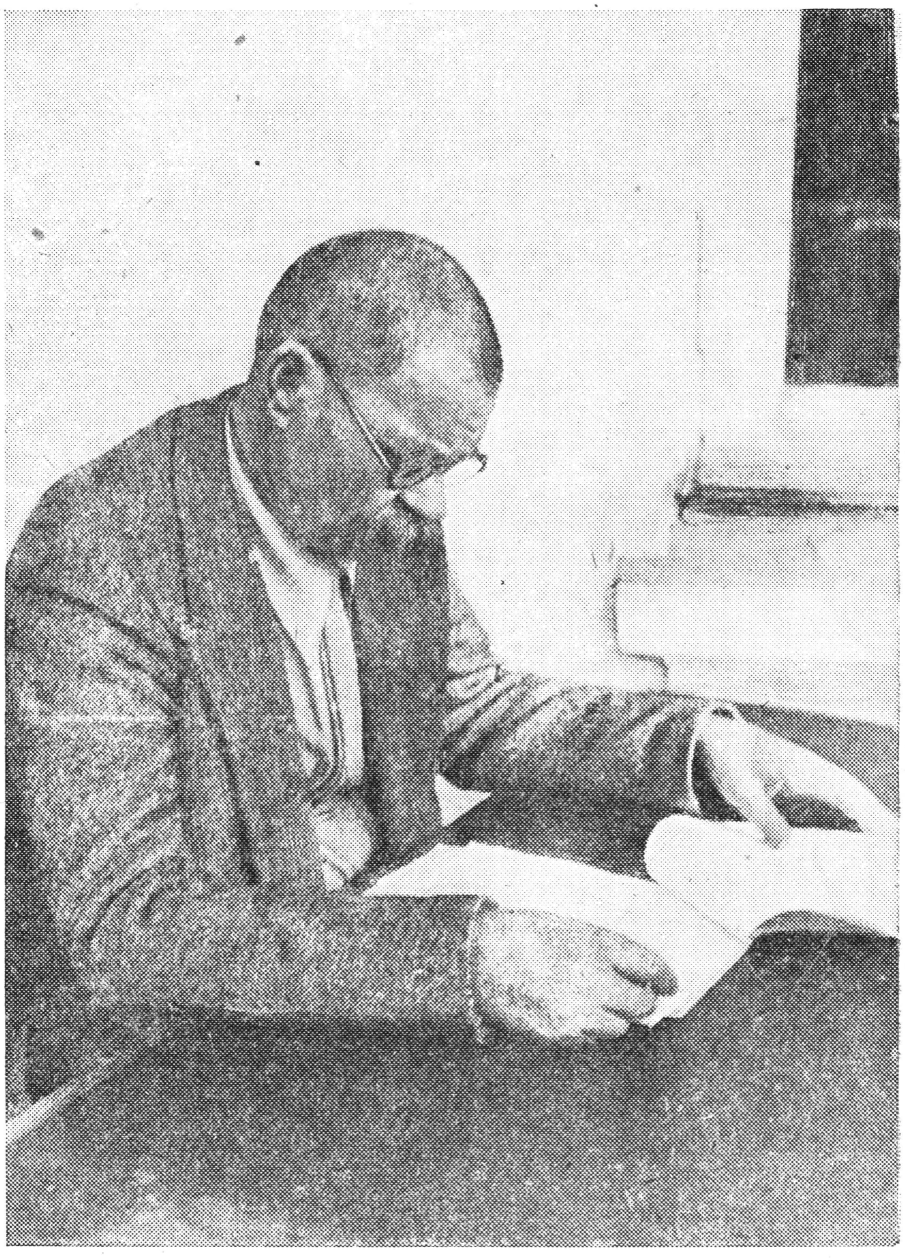
40 ЛЕТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАКСИМА ГОРЬКОГО

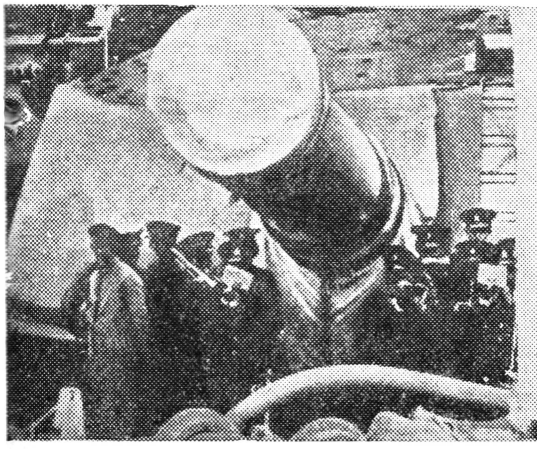
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: НАГРАДИТЬ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ ТОВАРИЩА МАКСИМА ГОРЬКОГО ЗА ЕГО ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РАБОЧИМ КЛАССОМ И ТРУДЯЩИМИСЯ СОЮЗА ССР.

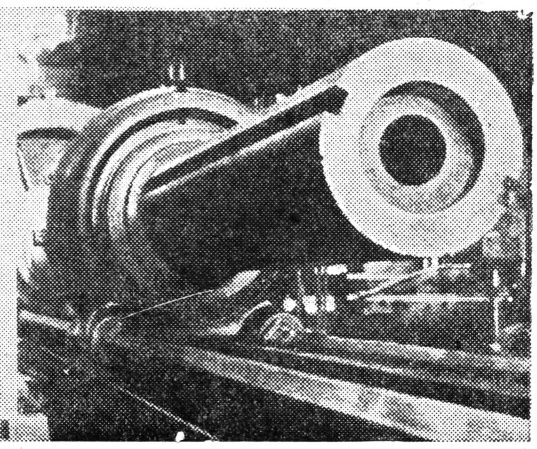
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦИКА СССР—М. КАЛИНИН
СЕКРЕТАРЬ ЦИКА СССР—ЕНУКИДЗЕ

МОСКВА, КРЕМЛЬ.
17 СЕНТЯБРЯ 1932 Г.





Орудия растущего капиталистического крейсерского флота — лучшая иллюстрация лживости буржуазной болтовни о разоружении. В 1929 году мировой тоннаж крейсерского флота уже больше, чем в три раза, превысил довоенный.



Это—орудие, но не разрушения, а мирного социалистического труда — гигантский токарный станок на заводе „Русский дизель" (Ленинград).

О ВОЙНЕ, О МОЛОДЕЖИ

«Я получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска, но желаю иметь с твоей стороны такие же гарантии, какие я дал тебе, т. е. что эти военные приготовления не означают войны, и что мы будем продолжать переговоры ради благополучия наших государств и всеобщего мира, дорогого для всех нас. Наша долго испытанная дружба должна с божьей помощью предотвратить кровопролитие.

С нетерпением и надеждой жду твоего ответа.

Ники».

Петергоф, 19 июля 1914 г.

«Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный путь, которым можно избежать войны. Несмотря на то, что я требовал ответа сегодня к полудню, я еще до сих пор не получил от моего посла телеграммы, содержащей ответ твоего правительства. В виду этого я и был принужден мобилизовать свою армию. Немедленный утвердительный, ясный и точный ответ от твоего правительства — единственный путь избежать неисчислимых бедствий. До получения этого ответа я не могу обсуждать вопроса, поставленного твоей телеграммой. Во всяком случае я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в коем случае не переходить нашей границы.

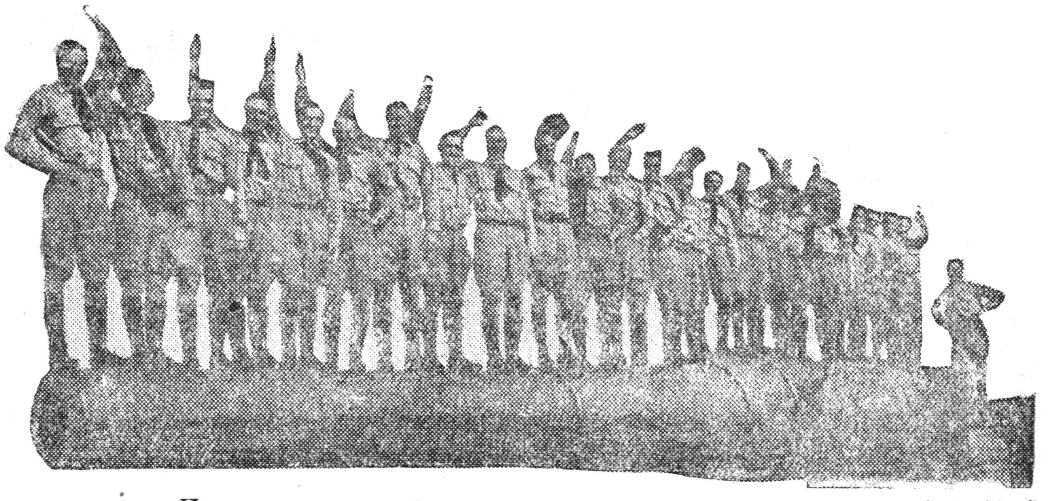
Вилли».

Подана в Берлине 1 августа 1914 г. 10 ч. 55 мин. вечера.

Этой роковой телеграммой закончилась переписка между двумя императорами: Николаем Романовым и Вильгельмом Гогенцоллерном, переписка, которая так трогательно и нежно продолжалась в течение двадцати лет без трех месяцев (первое письмо Вильгельма к Николаю датировано 8 ноября 1894 г., последняя телеграмма — 1 августа 1914 г.).[1]

В подстрочнике под последней телеграммой Вильгельма указано: «На подлиннике рукой Н. Романова написано

[1] «Переписка Вильгельма II с Николаем II», с предисловием М. Н. Покровского. Центроархив. ГИЗ. 1923 г.



карандашом: «Получена после объявления войны».

Итак, война объявлена! Уже в Петербурге, на Невском, ломал, истекая отечественной слюной, немецкую трость и кромсал на части немецкий цилиндр обезумевший патриот. Уже в Берлине на Вильгельмштрассе добрые немцы гонялись за недобрым русским, чтобы растерзать его в клочки. Уже рвались первые снаряды Круппа. Уже умирали на полях и в траншеях тысячи солдат. Уже были выпущены военные займы. Уже были завалены заказами военные заводы. Война!

Попы, лавочники, обыватели с ликованием выражают свои верноподданнические чувства царю. Лучшая, революционная часть рабочих крупных промышленных центров организуется вокруг большевиков, занявших непримиримую позицию по отношению к войне. В подполье идет оживленная организационная работа. На заводах и фабриках — агитация за забастовку и стачки. На улицах—выступления с революционными требованиями и красными знаменами. Аресты и ссылки становятся массовым явлением...

Но ведь существовали и еще организации. Международные. Они называли себя революционными организациями. Например — II Интернационал, который уже в 1914 году блестяще выдержал экзамен на оппортунистическую предательскую зрелость.

На Штутгартском конгрессе II Интернационала в 1907 году была принята специальная резолюция о войне, в которую, по предложению Ленина, был включен такой пункт:

«В случае, если война все-таки разразится, социалисты обязаны вмешаться для скорейшего ее прекращения и всемерно использовать вызванный войной экономический и политический кризис, чтобы поднять народ и тем самым ускорить падение капиталистического господства».

На Базельском конгрессе в 1912 году были произнесены торжественные клятвы в том, что в случае возникновения войны II Интернационал поведет за собой широкие рабочие массы в бои против капитализма.

Но известно и другое. Известно, что лихорадочные вооружения, которые предшествовали империалистической войне, создание различных согласий так называемых «великих держав», обостряющаяся борьба за рынки и колонии — все это обсуждалось перед войной II Интернационалом на его конгрессах и заседаниях. Известно, что II Интернационала и его секций фактически во время войны не существовало. Они влились в националистические отряды, отбросили все социалистические обещания и мобилизовали все силы на защиту отечества. Известно также, что большевики навсегда порвали с этой продажной организацией и мобилизовали массы на борьбу против собственной буржуазии, подтверждая, что у пролетариата нет своего отечества.

К моменту объявления войны стала абсолютно ясной и позиция реформистского руководства международного юношеского движения. Потрясающий факт: в первые дни войны секретарь интернационального бюро *Дапенберг* — реформист, верный и последовательный ученик старшего поколения предателей из II Интернационала, — вывесил на дверях объявление: «В виду объявления войны бюро закрыто».

Кто же шел за реформистским руководством? За ним шли потерявшие ре-

волюционную перспективу союзы, объятые страстью к своему отечеству, не желавшие как следует разобраться в сущности II Интернационала, предпочитающие боевым лозунгам большевиков непротивление реформистов. Характерным для таких союзов, объединяемых интернациональным бюро, был австрийский юношеский союз, который в ответ на предложение шведской, итальянской и швейцарской организаций созвать вторую международную конференцию (первая конференция состоялась в г. Штутгарте в 1907 году, вслед за Штутгартским конгрессом II Интернационала) ответил:

«Уважаемые товарищи!

В ответ на ваше письмо, в котором вы приглашаете нас на конференцию в Берн, сообщаем, что мы решительно возражаем против того, чтобы во время войны обсуждать и решать вопросы, касающиеся международной организации, ибо такие обсуждения и решения смогут быть проведены лишь тогда, когда во всех странах наступят нормальное время и нормальные условия. Подчиняться каким бы то ни было решениям, касающимся международной организации, мы ни в коем случае не можем».

«Сам» же Даненберг ответил на предложение о созыве второй конференции коротко следующим:

«Уважаемые товарищи!

В настоящее время совершенно невозможно предвидеть, можно ли будет к троице созвать конгресс. Поэтому пока не могу высказаться в пользу вашего предложения.

С приветом Даненберг».

Однако итальянский союз, шведский, швейцарский, руководимый в то время Вилли Мюнценбергом, взялись через голову предательского руководства за подготовку второй международной конференции. И 4 сентября 1915 года в гор. Берне она состоялась. От большевиков на ней присутствовало два делегата с мандатами. Секретарем международного бюро был избран Вилли Мюнценберг.

По предложению голландской делегации было принято решение о праздновании Международного юношеского дня. Вот это решение:

«Принимая во внимание, что уже Парижский конгресс Интернационала в 1900 году поручил социал-демократии организовать пролетарскую молодежь, особенно в целях борьбы с милитаризмом, принимая во внимание резолюцию Либкнехта, принятую на Копенгагенской конференции Интернационала молодежи в 1910 году и признавшую самостоятельное пролетарское движение молодежи одним из наилучших средств для социалистической борьбы с милитаризмом, Бернская конференция международной социалистической молодежи постановляет принять необходимые меры к тому, чтобы в одно и то же время социалистические организации в различных странах, по возможности при содействии профессиональных союзов

всех стран, организовали международный антимилитаристический юношеский день».

Первый МЮД 3 октября 1915 года был первым массовым протестом против войны. И последующие МЮД становятся все более массовыми, более активными.

Что было в России? До Февральской революции в России юношеского революционного движения не было. Революционная молодежь входила в различные партии и там принимала участие в работе. И только после Февральской революции молодежь в России начинает создавать свои собственные организации. Большинство из этих организаций сплачивалось вокруг лозунгов большевиков.

Б Москве, в июле 1917 года, рабочая молодежь организовала протест против Временного правительства, которое развернуло бешеную травлю большевиков. Первый МЮД в России, в 1917 году, рабочая молодежь Москвы проводила под большевистскими лозунгами. Все, что было лучшего среди революционной рабочей молодежи России — ушло в Красную гвардию. Петроградский союз целиком вступил в нее.

Задача этой статьи «О войне, о молодежи», идущей в качестве передовой в номере, посвященном борьбе с готовящейся войной против единственной в мире Страны советов, XVIII Международному юношескому дню и 15-летию комсомола, задача этой статьи — напомнить читателю:

ПОМНИ,

„Помни, что миролюбивые разговоры о разоружении—сплошная болтовня, туман, из которого при внимательном рассмотрении вырисовывается настоящее лицо дипломатов—наймитов мирового империализма.

„Помни, что международная социал-демократия, предавшая пролетариат в 1914 году, достаточно квалифицировалась в этой роли. Она предает, не покладая рук и не щадя языка на обещания, рабочий класс на каждом шагу.

„Помни о боевых славных традициях международного юношеского революционного движения. О нем нельзя забывать, его нужно изучать, памятуя, что только учение Ленина было и есть основа, теория и практика революционного юношеского движения. Знать историю этого движения со всеми его ошибками и промахами, поражениями и победами—обязанность каждого комсомольца, каждого молодого рабочего и колхозника.

„Помни, что с момента создания Коммунистического Интернационала молодежи и по сегодняшний день роль РКСМ—РЛКСМ—ВЛКСМ есть роль организатора. По истории ВЛКСМ учатся наши братские зарубежные союзы, на его примерах, на его работе, на его традициях воспитываются миллионы молодых пролетариев. 15-летие Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи, совпадающее с 15-летием существования Союза Советских Социалистических Республик—это грандиозное торжество, огромный праздник, величайшая дата для трудящихся всего мира.

„Помни, что юбилей комсомола обязывает ко многому. Прежде всего—к еще большему и успешному развертыванию победоносного социалистического наступления под руководством нашей славной большевистской партии и ее вождя, тов. Сталина.

ШКОЛА[1]

ЛЕОНИД РАДИЩЕВ

Рисунки В. Муретова

Мак жаждал славы и подвигов.

Было время, когда, возвращаясь из школы, он делал немалый крюк, чтобы полюбоваться портретом Кузьмы Крючкова, первого георгиевского кавалера. Лихой воитель, нанизав на пику десяток немцев, как будто готовился жарить из них шашлык. В сотый раз прочитав подпись под картинкой, Мак возвращался домой. Он напевал:

«И, получив шестнадцать ран,
Кузьма доехал все же в стан.
И стал теперь казак донской
Везде известен, как герой».

Война! Вот где должен был находиться Мак. Передовые позиции, атаки, военные кони. А вместо этого он ежедневно вставал в восемь утра, на ходу глотал чай, давился бутербродом и убегал, преследуемый криками матери. Дневник Мака был чист, там не числилось опозданий, шалостей, вызова родителей. Он был хороший, приличный, воспитанный юноша. В большую перемену прислуга приносила ему бутылку какао, обернутую в салфеточку. Какао еще дымилось. Тут же рядом с раздевалкой закусывали его школьные товарищи. Они норовили пересидеть звонок хотя бы на полминуты.

— Стрема! — кричал вдруг дозорный. — «Козел»!

Это наш Георгий Павлович Гинс, классный наставник — преподаватель естествознания и русского языка.

— Господа, — говорил он, — звонок уже был! Каждый раз приходится гнать вас, как стадо баранов...

И вот наступили дни небывалой скуки. Отец Мака шаркал туфлями, швырял мятые газеты, бранился с матерью. Он наводил с некоторых пор экономию, вмешивался в хозяйство, шипел:

— Упорна, как Германия!

Точно такую же повестку, как и отец Мака, получили десятки других родителей. Там говорилось о том, что школа временно закрывается из-за беспорядков в городе. После шести вечера хождение по улицам для учеников школы безусловно воспрещено. Едва часы отбивали шесть ударов, отец сгонял Мака с окна. Этот толстый человек, благополучный судейский чиновник, любивший вкусно и спокойно поесть, пребывал отныне в вечном раздражении. Подходила пасха. Разноцветными огнями озарялся город. Шли из церквей веселые люди, ладонью прикрывая от ветра — уже теплого, уже весеннего — трепетные огоньки свечей. Окорока и ветчина лежали плашмя за зеркальными стеклами. Эта пасха не предвещала ничего хорошего. Наоборот, подбирались запасы, очередь уже входили в быт, забастовку ожидали со дня на день.

Эпизоды из повести.

— Упорен, как Германия, — говорил отец, свертывая ухо Мака в трубочку. — Займись же наконец делом...

Мак распалял себя воспоминаниями. Раньше его били все, кому не лень, он жаловался учителям, возвращался домой задворками. Он побаивался даже первоклассников. А теперь он стеганул пряжкой пятиклассника Петухова, да так, что у того на щеке отпечатался герб училища — В. Н. У.

И Мак бежал на улицу после шести, воспользовавшись уходом отца и преждевременно темным вечером. Вечерняя улица была оживлена необычайно. Еще за полверсты до вокзала сгрудился народ. К вокзалу не допускали без пропусков, выданных жандармским отделением. Отряд конных и пеших жандармов с полусотней казаков охранял входы. Там разводил пары воинский поезд. Все, кто мог двигаться, высыпали на платформу из товарных вагонов, гремели чайниками и манерками, дымили махоркой. Потом, набрав воды и угля, поезд ушел. Никому даже в голову не пришло крикнуть «ура». Ни песен не было, ни улыбок. Пройдя между двух казацких коней, к толпе вышел жандармский ротмистр Короткевич. Он шел, припадая на одну ногу, — ботфорты его сверкали, погоны торчали концами вверх, как турецкие туфли.

— Господа служащие и рабочие, — сказал он, подходя к передним. — Лучше разойдитесь по-доброму, по-хорошему...

Ротмистр побледнел, лицо его свело судорогой. В тишине пронзительно заржала казацкая лошадь. Да, ротмистр был явно неустрашим Он один наступал на толпу. Мак, сжатый со всех сторон, не чувствовал ничего, — он смотрел зачарованно на ротмистра. Внезапно чьи-то цепкие руки повернули его затылком к событиям, — перед ним стоял Георгий Павлович

Гинс и язвительно улыбался. Трепещущий Мак все же успел подумать: «как он похож на козла!»

Они выбрались из толпы. Козел вел Мака под ручку.

— Мак, — неожиданно мягко сказал Георгий Павлович, — почему вы нарушаете правила? Ну чего вы тут не видели, в этой разнузданной толпе?.. Вы знаете, что сделали эти люди полчаса тому назад? Они надругались над портретом государя императора! Их за это жестоко накажут! Идите домой, Мак... Я на этот раз прощаю вас... Школа начнет заниматься на днях...

Так благополучно вернулся Мак в лоно «понамарей» («понамарями» называла «камчатка» тех, кто сидел на передних партах). Понамари старательно раскланивались с учителями, шаркали ножкой. Они восторженно смеялись, когда Георгий Павлович острил. Среди них были зубрилы, трусы, неженки, фискалы. Понамарь, начинавший пошаливать, мог быть водворен Георгием Павловичем на «камчатку». Какая дружба могла быть у Мака, знавшего на зубок все уроки и завтракавшего горячим какао, с аборигеном «камчатки» Верилиным? Верилин отставал по всем предметам, пропускал уроки, завтракал куском черного хлеба с копеечной колбасой, от него пахло щелоком. Он помогал матери, работавшей на мыловаренном заводе.

Когда Георгий Павлович входил в класс, Верилин сжимался в комок на своей задней парте. Понамари гордо посматривали вокруг себя. Двое понамарей — любимчиков Георгия Павловича — кидались подавать ему классный журнал. Третий начисто вытирал доску. Взгляд классного наставника скользил по страницам журнала. Это была книга судеб. Здесь против каждой фамилии стояли какие-то значки, крестики, минусы. Потом взгляд Георгия Павловича обращался на лица учеников. Это был взгляд охотника. Он знал, что за наигранным равнодушием некоторых молодых людей таилось смятение. Казалось, он слышал биение их трепещущих сердец. С первых парт на него смотрели честные, спокойные глаза. Они точно говорили: «Ну вызови сегодня меня. Я так хорошо выучил урок!»

Перед раздачей сочинений волновались даже лучшие. Здесь решалась судьба годовой отметки.

— Среди сочинений, лежащих в этой папке,— сказал Георгий Павлович, — имеются удостоенные высшей отметки... Староста, раздайте эти сочинения... Но есть сочинения, вызывающие не только изумление, но даже негодование... Вот господину Верилину я ставлю, например, единицу с минусом.

Среди понамарей раздался смех.

— Скажите, Верилин, почему вы приходите в школу таким неряхой?.. Что это за рвань коричневая надета на вас?!

— Это не рвань, — отвечает кто-то, — это у него бывший халат...

— Спокойно, господа! Господин Верилин сам может ответить... Ну садитесь, Верилин. Советую вам подумать о том, что вы есть... Далее нас порадовал сочинением господин Шпильман. Пересказывая сцену молебна из «Войны и мира», господин Шпильман ухитрился слово «епитрахиль» написать «эпитрохейл»... Простите, господин Шпильман, но это не по-русски... Вы согласны со мной?..

Шпильман стоит молча.

— Почему вы смотрите в потолок, господин Шпильман? Там что-нибудь написано?

Восторг на скамьях понамарей достигает высшего подъема.

— Нет, там ничего не написано, — дрожащим голосом отвечает Лазарь Шпильман.

— Вам бы как раз Лазаря петь по дворам... Жалобно получается... Так вы не знаете, что такое «епитрахиль»? Жаль, жаль! Впрочем я ведь позабыл, что вы иудей...

На следующем уроке внимание Георгия Павловича вновь обращается на Верилина.

— Кто объяснит мне суть предмета минералогии? Никто? В таком случае попрошу господина Верилина!.. Ах, тоже нет?.. Сейчас мы продвинемся несколько дальше. Надеюсь, господин Верилин ничего не имеет против?

Георгий Павлович берет мелок и рисует на доске причудливые сочетания квадратов, кубиков и ромбов. Понамари яростно перерисовывают их в тетрадки.

Однажды Мак надел скаутский костюм, повязал галстук и отправился на свидание с Таточкой Гебель. Портупея перетягивала ему плечо, стальные карандаши, висевшие на аксельбантах, позвякивали, как шпоры. Он ловил свое отражение в каждом стекле. Он жаждал встретить хотя бы какого-нибудь унтерофицеришку, чтобы отдать ему честь.

Вскоре он сидел под тенистыми ветвями большого запущенного окраинного сада. Солнечный и зеленый мир отражался в его скаутских доспехах. Таточка Гебель слушала его горячие речи.

— При следующей мобилизации скаутов будут брать на фронт и сразу делать офицерами. Я буду офицером. Ох, и порублю я этих немцев в капусту...

Живой, сочный смех раздался позади скамейки. Мак вспыхнул и вскочил. Его школьные товарищи Пашка Коссовский и Виктор Кругель стояли и смеялись над ним.

— Вот дурак-то, — пренебрежительно сказал Коссовский. — Да ведь немец зарубит тебя раньше, чем ты замахнешься.

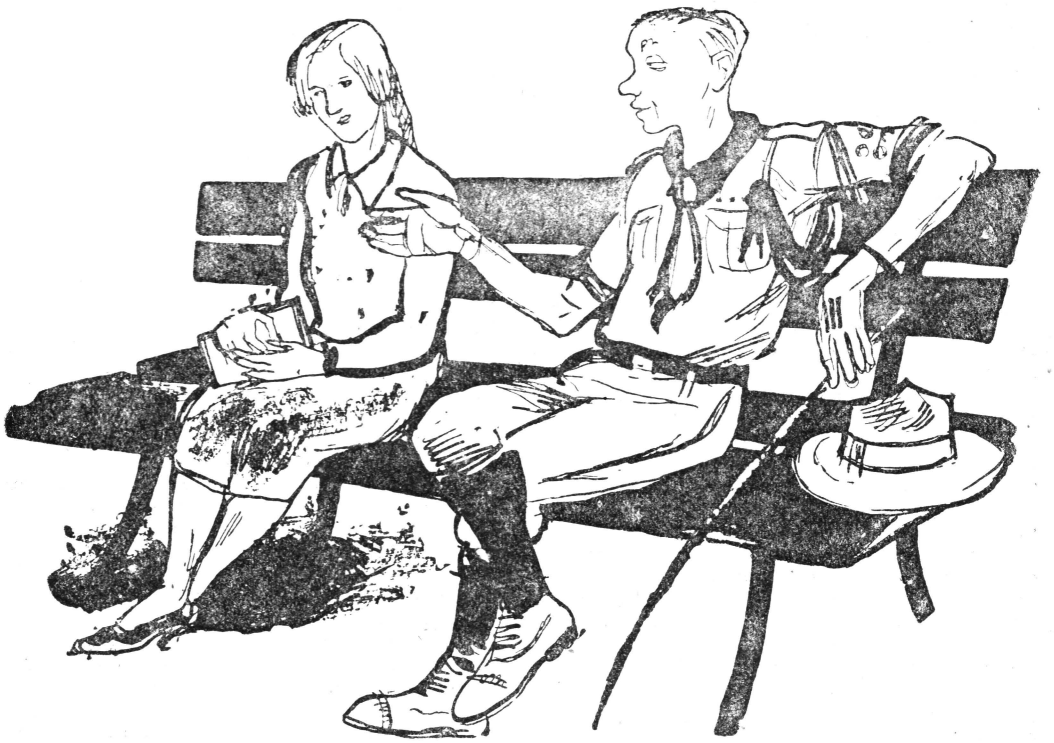
Кругель подергал зеленый со стальным карандашом аксельбант.

— Вырядился, как петух, и ходит курам на смех... Сними, не маленький...

Они ушли. Мак посмотрел им вслед. Пашка был высокий, плечистый, в длинных холщевых штанах. Кругель — меньше, подвижнее, он забегает то спереди, то сзади Коссовского, в руках у него туго набитый ранец.

Странно, что у него не нашлось хлестких слов, чтобы ответить этим обитателям «камчатки». Он впал в задумчивость. Таточка, как ему показалось, разговаривала с ним из вежливости, смотрела презрительно. Они холодно простились.

Почему такой пустяк проник в его закаленное сердце? — раздумывал Мак. Он прибег к испытанному средству: к боевым воспоминаниям. Это не помогло. Одноклассники, ровесники на глазах у женщины, без всякого труда унизили его, пристыдили, как мальчишку. Они, — почувствовал это всем своим существом, —



Таточка Гебель слушала его горячие речи.

стояли выше скаутских костюмов, аксельбантов, разговоров о подвигах. Так взрослый говорит с малышом, когда тот просит достать ему луну.

— Чем же они заняты? Чего хотят? — злобно спрашивал себя Мак.

Он стал присматриваться к ним. Еще два года назад это были отчаянные парнишки, сорвиголовы. Коссовский однажды принес снаряд собственного изобретения и устроил в уборной взрыв. Кругель рисовал карикатуры на учителей и сам придумывал к ним злые стихотворные надписи. Оба они были из рабочей слободки. Мак хорошо знал эти полукирпичные, полудеревянные домики, раскиданные вокруг мыловаренного завода и ремонтных мастерских Громова. В слободке имелась старинная часовня и аптека под орлом. За большим стеклом аптеки, видимая во весь рост, сидела розовая, веселая аптекарша. Молодежь, проходя мимо окна, всегда перемигивалась с ней. На дворах слободки набухали помойные ямы, бегали пестрые узкорылые голодные свиньи, мальчишки играли в орлянку, бабки, фантики. Утром и вечером все голоса покрывал густой рев гудка с «мыловарки». Перед Первым мая здесь обычно арестовывали половину населения. Конные городовые частенько наезжали в слободку.

Кругель и Коссовский возвращались сюда сразу же после уроков. Они не задирали приготовишек. Они спокойно выслушивали насмешки Георгия Павловича. Мак окончательно определил свое отношение к ним: он их возненавидел. Он зорко за ними наблюдал. Он видел, что Кругель и Коссовский заняты каким-то делом, которое поглощает их целиком. Мак часто приходил в окраинный сад и ложился под тенистое дерево. У сада была дурная слава. Сюда редко кто заглядывал. Маку стало ясно, что его детство затянулось дольше, чем полагается. О Таточке он даже не вспоминал. Это был сущий пустяк...

Как-то под вечер он услышал в саду знакомые голоса и заполз под куст. Четверо людей прошло, хрустя гравием, невдалеке от него. Троих он узнал: Коссовский, Кругель, Верилин. Четвертое лицо также показалось ему знакомым. Он тихо пошел за ними, перебегая от куста к кусту.

Мак не видел Верилина более месяца. Его исключили из школы. Рассказывали, что мать Верилина покалечило на мыловарке. Она уехала в деревню. С Верилиным в школе был припадок. Он кричал и бесновался. Он требовал крови «Козла».

— Значит они попрежнему дружат с Верилиным, — соображал Мак, — но кто же тот, четвертый?

Мак боялся близко подходить к старой беседке, откуда приглушенно доносились голоса.

Дома, за обедом, он вдруг выронил тяжелую ложку и розлил суп. Он не заметил грозного отцовского взгляда. Он отчетливо вспомнил лицо четвертого, немолодое, с редкой клочковатой бородкой. Он вспомнил вокзал, оцепленный казаками, флажки на пиках, взбудораженную толпу, ротмистра Короткевича. Тот четвертый взволнованно говорил в кучке людей:

— Вы не смотрите, что они вас сейчас не бьют. Нет приказа свыше... А придет время, они саблями будут рубить без разбору.

Потом Мака оттеснила толпа. Потом его изловил Георгий Павлович. Почему же эти четверо сошлись вместе?

Тремя шеренгами скауты вышли на середину зала. Фролов, учитель гимнастики, свирепо шевеля усами, прокричал первую команду. Сотня юношей в зеленых костюмах стройно проделывала вольные движения. Под огромным портретом Николая II, в окружении педагогов и родителей, сидели директор, инспектор, классные наставники, попечитель училища, отставной генерал Лыков. Старческой рукой Лыков махнул скаутмастеру.

— Вольно, — скомандовал Фролов, отирая лицо платком.

Скауты смешались с гостями. Веселые пары расхаживали по залу. Георгий Павлович поймал гуляющего Шпильмана.

— Идите, Шпильман, в раздевальную, сейчас будет молебен...

Этот порядок установился давно. В первых классах иноверец Шпильман спокойно сидел на уроках закона божьего. Как-то увлекшийся уроком батюшка воскликнул, обращаясь к ученикам:

— Я уверен, что наш жидок Шпильман запоминает мои объяснения, а вы просто великовозрастные балбесы... Ох, мука смертная с вами...

Однако Шпильман не обнаружил никаких познаний в законе божьем. Тогда батюшка рассердился и прогнал Шпильмана в раздевальню. Эта комната примыкала к залу. Шпильман мог в приоткрытую щелку видеть спины сидевших за столом, склоненных учеников, серебряный крест, осенявший их знамением. Это был молебен во славу русского оружия, о даровании победы государю императору. Зычный голос священника взывал к богу, скауты подходили к нему один за другим и прикладывались к кресту. Мак, правофланговый, проходя мимо стола, впился взглядом в генерала. Рассказывают, что это был великий воин. Какой-то незнакомый Маку орден сиял у него на груди. Его старческие глаза под нависшими веками казались увлажненными, растроганными. Мак заметил, что генерал пел «Боже, царя храни» выпрямившись, насколько позволяли ему годы. Ни один мускул на его лице не дрогнул. И Мак пел и молился, подражая ему и не сводя с него глаз.

— Дети, школьники, юные друзья, — сказал генерал, когда кончилась служба, — мы с надеждой глядим на ваши славные, юные лица. В ваши годы душа широко открыта всему прекрасному...

Голос его вдруг пресекся. Он растерянно обернулся к директору. Большая расшлепанная калоша вылетела из раздевальни и упала к его ногам. Сотня глаз впилась в нее, точно ожидая, что калоша взорвется. Георгий Павлович по-мальчишески резво побежал в раздевальню.

— О-о-о, Шпильман, — вскричал он, утеряв обычное хладнокровие, — вы что же это, с ума спятили или что?!

Бледный Шпильман залепетал:

— Это не я! Это они бросили! Я им все время говорил, что нельзя...

— Он, он, он! — галдели второклассники, окружая Георгия Павловича, — он бросил!..

— Ладно, мальчики, довольно шуму, — мрачно сказал Гинс. — А вы, Шпильман, отправляйтесь домой и позовите вашего отца.

Он круто повернулся на каблуках и пошел обратно в зал. Генерал окончил речь. Фролов построил учеников попарно и во главе колонны величественно проследовал в столовую. Первая партия молодых людей, звеня ложками и обжигаясь чаем, пожирала печенье, конфеты и пастилу. Генерал Лыков и педагоги благодушествовали за отдельным столиком. Вторая партия едоков резвилась в ожидании на блестящем зальном паркете. Некоторые из них заглядывали в столовую, крича товарищам:

— Скорее лопайте, гады!..

Наконец их впустили. Еще «трапеза» была в разгаре, когда раздался сухой голос Фролова:

— В шеренги стройся!

Дожевывая на ходу, недоумевающие, недовольные ученики поспешили в зал. Георгий Павлович прошелся перед ними, пощипывая козлиную бородку.

— Мальчики, — сказал он сладким голосом, точно рассказывал сказку маленьким, — среди вас завелись нехорошие мальчики... Короче говоря, из столовой украдены восемь кусков сахару и десять бисквитов... Кто это сделал?

— Да ладно, — примиренно проворковал генерал, — ну бог с ними!..

— Нельзя этого так оставить, ваше превосходительство. Ну, кто?

Ученики стояли молча. Тут были пятнадцати-шестнадцатилетние парни, многие из них курили и выпивали. Георгий Павлович каждого из них заставил вывернуть карманы. Украденного не нашли. Гинс пообещал им всем единицу за поведение. В девять часов вечера их отпустили по домам.

Утром по школьному коридору, держась поближе к стенке, прошел Арон Шпильман. Точно так же он шел четыре года назад вместе с сыном. Оба худые, сутулые, почти одинаковые, они шли тогда по этому казенному, гулкому коридору. Робко кашляя в кулак, Арон Шпильман справился в канцелярии о сыне.

— Да, Лазарь Шпильман принят в число учеников первого класса. Ему надлежит явиться в среду, в восемь утра, имея при себе общую тетрадь, карандаш и резинку.

Дома у них было великое ликование.

— Это очень редкий номер, чтоб ты это знал, — говорил Арон Шпильман, — три процента евреев, чтоб ты это помнил...

Его сын, Лазарь Шпильман, был принят в число учеников государственной школы в счет трехпроцентной нормы. Он мог носить фуражку со значком, у него возникало будущее, ради которого стоило жить. Он мог стать доктором, инженером, помощником присяжного поверенного, в худшем случае провизором, но уж никак не сапожником и не портным. Если бы у Лазаря Шпильмана спросили тогда, кем он хочет быть, — он бы затруднился ответить. Помнится, что хотел быть городовым. Его прельщало явное могущество этой профессии. Он мог выселять евреев из квартир или же оставлять их в покое. Он приказывал дворникам поливать улицы. Он сажал пьяных на любого извозчика, и те беспрекословно везли его

в участок. Далее Лазарь Шпильман мечтал о пожарной каске. Потом он подрос и уже десяти лет знал, что такое право жительства, обыск и взятка полицейскому. И все-таки он дошел до казенной школы, пробрался сквозь три процента.

Арон Шпильман почернел, пал духом. Его сын вернулся к тому, с чего начинал отец. Лазарю Шпильману предстояло стать портным.

В перемену, в курилке Кругель шепнул Терентьеву:

— Пашка, нас кто-то выдал «Козлу»! Что он знает?

Гинс объяснил главу из минералогии, потом вдруг обратился к Терентьеву:

— Вы, кажется, не интересуетесь минералогией, господин Терентьев... Скажите, чем вы интересуетесь?.. Встаньте, когда с вами разговаривают! Вы что же, и это позабыли?

Терентьев встал, исподлобья глядя на Георгия Павловича.

— А как поживает ваш друг, господин Верилин, отныне вольный сын садов и степей? Может быть вы ответите, господин Кругель? Вы, кажется, имеете склонность к литературе?

На партах у понамарей фыркнули. Гинс зловеще глянул на стоявших учеников. Терентьев стоял бледный, с крепко сжатыми губами, растрепанный. Кругель, живой, как всегда, даже кажется безразличный. «Пролетарии, хулиганы, дети порочных родителей, — подумал Гинс, — откуда они достали шапирограф, — украли наверно...»

Он сказал вслух:

— Идите к господину директору... Он вас ждет. Староста, проведите их к директору!

Дверь захлопнулась за ушедшими. Несколько секунд в классе молчали.

— Кругель и Терентьев раскидывали здесь дрянные и злобные бумажонки... Кто их читал, подымите руки!

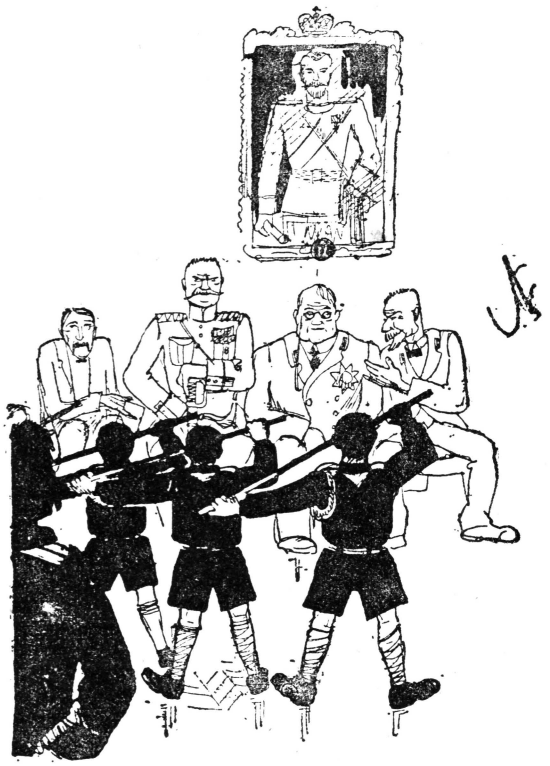
— Мы не знали, кто их раскидывает... Мы их не читали, — сказал чей-то тихий голос.

— Мы не знали, кто их подбросил в парту,— заговорило сразу несколько учеников.

— Почему же вы молчали? Почему мне никто не заявил об этом?

Бумажка, тонкий папиросный лист, скомканная лежала у Гинса в кармане. На ней написано было лиловыми, сливающимися чернилами:

«Ученики! Комитет революционной молодежи, ознакомившись с положением в вашей школе, призывает вас подумать и хорошо разобраться во всем окружающем. Присмотритесь к тому, как вас воспитывают и к чему готовят. Один из ваших педагогов, Г. П. Гинс, матерый погромщик. Он своими издевательствами едва не довел до самоубийства ученика Верилина. Весь город знает, что «преступление» Шпильмана, бросившего калошу во время молебна, раздуто тем же Гинсом. В результате баловства приготовишек Шпильман исключен из школы с волчьим билетом, только из-за того, что он — еврей. Вдумайтесь внимательно, что значит постоянный припев господина Гинса после каждого урока: «Но теперь Россия снова заботится о том, чтобы восстановить власть самодержавного царя, как было когда-то, во всей полноте на благо народа». Мы говорим вам прямо. Лучшие люди России, студенчество, рабочие гниют в тюрьмах



Под портретом Николая II сидели директор, инспектор, классные наставники.

и на каторге за то, что стремились свергнуть кровавого царя и установить республику, где царем будет весь народ. Вас считают верными слугами самодержавия, но почему же вам не показали писем, написанных из действующей армии? Помните, вы щипали корпию для раненых, зашивали в мешочек пачку махорки, десяток конфет с коротким адресом: «В действующую армию». Ответы на подарки пришли, но их спрятали. У нас имеется несколько этих писем. В них говорится о том, что солдаты устали от проклятой, кровавой войны, они гниют в окопах заживо. А патриоты вроде господина Гинса окапываются в тылу и воруют последнее у солдат.

«Ученики и товарищи! Если проклятая война продлится еще дольше, то и вам скоро придет очередь становиться под ружье. Организуйтесь, держите связь с революционными кружками молодежи. Читайте революционную литературу. Срывайте у себя позорные скаутские тряпки, которые превращают вас в помощников жандармов».

Мак поймал отрывок разговора в учительской. Петровский, преподаватель химии, тихо говорил кому-то на ухо:

— Мальчишек, почти детей, отдать в лапы полиции...

Мак ходил гордый и неприступный. Товарищи по лицу Мака видели, что Мак таит важные новости. Наконец он выпалил все сразу:

— Верилин, Кругель, Терентьев и еще один человек, вы его не знаете... Они сидят в жан-

дармском отделении... Это нам говорил сам ротмистр Короткевич... Он был в гостях у моего отца... О, им там пропишут...

В портновской мастерской Захарова работали днем и ночью. Здесь шили солдатские одеяла, белье, гимнастерки, кисеты, мешки. Двое учеников — Лазарь и Федька — непрерывно мочили отпарки и грели утюги. Впервые увидев Захарова, Лазарь решил, что это будет похуже «Козла». Захаров дрался всем, что попадалось под руку. Как-то Федька принес тощую книжечку из «народной библиотеки» и стал читать подмастерьям вслух.

— «А бывает напьется парень, — с выражением читал он какую-то сердцещипательную повесть «из народной жизни», — и ну скандалить по улицам. Это начальству не по нраву. Погулял паренек и — хватит. Отдохнуть надо. А об отдыхе начальство позаботится. И поведут беднягу в участок. Спереди его будет лупцевать по роже городовой, а сзади — по затылку — дворник...»

— Хозяин идет! — крикнул кто-то. Быстрее заметались иголки. Шаркая туфлями, с расстегнутым воротом русской рубахи, Захаров вошел в мастерскую. Не поднимая глаз, Лазарь слушал его гудящий голос:

— Я у этого грамотея ноги по одной выдергаю, откуда растут... А вам, ребята, вот рупь семь гривен... сами делитесь...

— Маловато, Иван Семеныч, прибавить надо! — сказал старший подмастерье.

— Маловато! А ты доктору Бузыкину пиджак сшил? Неделю тянешь, пьяная рожа... Не бойсь, целы у меня будут твои денежки.

— Не с радости пьем...

— А тебе чего, скоту, нехватает?.. Сыт, пьян и нос в табаке! Может в академию хочешь, химиком?

— Зачем химиком... У меня вот чахотка наверно, по ночам кровью блюю...

— Так тебе на курорт надо... В Италию или куда там...

И снова желтый, неверный свет керосиновой лампы смешался с трезвым утренним светом. В мутное окно малым краешком глянуло солнце. В шесть часов басил гудок мыловаренного завода. В семь начинали барабанить в церкви. Ранним утром по обсохшему тротуару гуляла прислуга с генеральскими бульдогами. Собаки, хрипя, натягивая ошейники, тащили за собой упиравшуюся прислугу. Кто-нибудь из подмастерьев обязательно говорил:

— Собака, допустим, животная, а ей живется несравнительно с человеком.

Лазарь Шпильман зажигал керосинку, подавал утюжки и утюги, бегал за водкой в ближайшую казенку. На верстаке он работал, ел, спал. По воскресеньям у Захарова бывали гости. Иногда к нему приезжал сын. Он учился в техническом училище. Один раз в гости пришел околоточный надзиратель. Лазарь слышал, как в соседней комнате крякали перед вышивкой, спорили о политике. Захаров гудел непонятно, околоточный объяснялся выкриками:

— У него техника была, какая техника! Сначала возня с жидовками, с забастовщиками на гы, а потом... р-р-р-аз... и всех в мышеловку.

В окно мастерской тихо постучали. Лазарь увидел прилипшее к стеклу лицо. Он открыл двери.

— Здравствуй, — прошептал он, находя руку Пашки Коссовского, — отпустили?..

— Да, отпустили!

— И Кругеля тоже?

— И Кругеля...

Даже в полутьме Лазарь увидел, что Пашка постарел, ослаб. Морщины пошли у него вокруг рта, глаза запали. Он стал похож на своего отца Максима Терентьевича, рабочего паровозного депо.

— Батьку-то видел?

— Всех видел!

— Что, били там здорово?!

— Да, били, как полагается! Сначала вежливо, а потом наотмашь... Спать не давали. Только заснешь, а шпик сразу холодной водой окатит... А ты как живешь? Бьют?

— Бьют, бывает, и голодом морят...

— Значит одинаково хорошо нам... Ну ладно, давай говорить о деле, — Пашка понизил голос, — с этих начнешь, со своих подмастерьев... Объясни им... потом я тебя познакомлю с товарищем Прохоровым. Он член социал-демократической партии большевиков...

15 ЛЕТ КОМСОМОЛА

ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ

ТЕКСТ ДМИТРИЯ ОСТРОВА

РИСУНКИ ЛЬВА КАНТОРОВИЧА

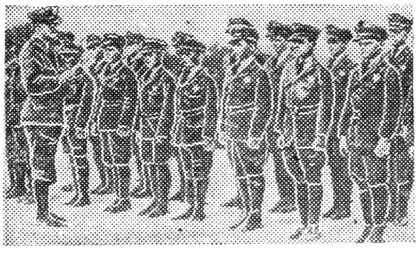
Рисунки серии „Дети революции" расположены на стр. 13, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 67.

Наша работа отнюдь не претендует на хронологическую историю ленинского комсомола. Это только отдельные зарисовки жизни и быта рабочей молодежи, пережившей звериную эксплоатацию, ханжество и мракобесие старой России. Эта молодежь пришла в революцию. Она прошла сквозь свинцовый ливень гражданской войны, неся в себе ненависть и ярость восходящего класса.

Нищета была вечным спутником этих людей. Здесь до самой зари задыхалась лампа и кидала свои лучи на листы подпольной литературы. Каждое утро восьмилетний Федька подходил к разбитому окну и спрашивал:

— Мамка! Ты слышишь, мамка? Скажи мне, когда же у нас будет солнце?

детство—



отрочество —

юность

Л. ДАР

Среди многих изречений, посвященных миру и войне, существует одно воистину классическое изречение, в пяти словах которого укладывается вся политика современного империализма:

— Хочешь мира — готовься к войне.

Эту классическую формулировку деятели современного империализма обо-рачивают так: хочешь войны — готовь мир. Фразеология мира совершенствуется и прогрессирует вместе с ростом вооружений и подготовкою новых войн. Фразеология мира, которая справедливо называется дымовой завесой войны, имеет свою историю, параллельную истории войн.

Еще в 1855 году, во время обороны Севастополя, английский адмирал Денольдан предлагал своему правительству взять Севастополь при помощи облака серных паров. Правительство не считало этот проект осуществимым, но ответило так: «Результаты этой меры могут быть столь ужасны, что ни один честный воин не может воспользоваться такими средствами для достижения своих целей».

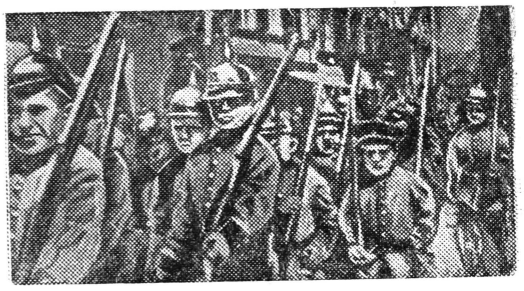
Некоторыми газетами был произведен забавный и поучительный опыт: перепечатаны кое-какие протоколы, постановления и речи, звучавшие на Гаагской конференции по разоружению, созванной в 1899 году по инициативе Николая II. И что же? Можно поставить под этими выдержками дату 1932 год — и печатать как отчет о последнем заседании женевских миротворцев. Те же разговоры о «братстве народов», «гуманности», «моральной страховке» и т. п.

«В последние дни в ходе дискуссии о различных проблемах, встающих перед нашими правительствами, нам стало ясно, что одним из препятствий к экономическому восстановлению является недостаток веры в будущее, вызванный тревогой по поводу политического положения. Эта тревога усиливается слухами о возможности мировой войны, исходящими из безответственных кругов. Мы признаем, что сейчас в Европе существуют политические затруднения, усиленные общим экономическим кризисом. Для улучшения экономического положения надо устранить сомнения в прочности мира в Европе. В качестве министров иностранных дел и ответственных представителей европейских стран мы заявляем, что мы более чем когда-либо полны решимости пользоваться механизмом Лиги наций для того, чтобы воспрепятствовать всякому применению насилия».

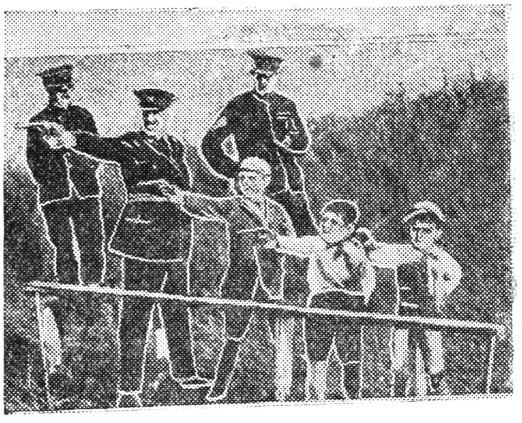
Это — один из «манифестов», опубликованный ответственными представителями европейских стран в ходе работы конференции по разоружению. Здесь можно видеть, как *начинает сдавать*

фразеология мира. В самом деле, как бездарно выглядит это заманчивое обещание «пользоваться механизмом Лиги наций» для предотвращения насилия! Как смешна и неубедительна эта «решимость» «ответственных представителей», из которых многие явились прямыми пособниками, вдохновителями и организаторами мировой бойни 1914 г.

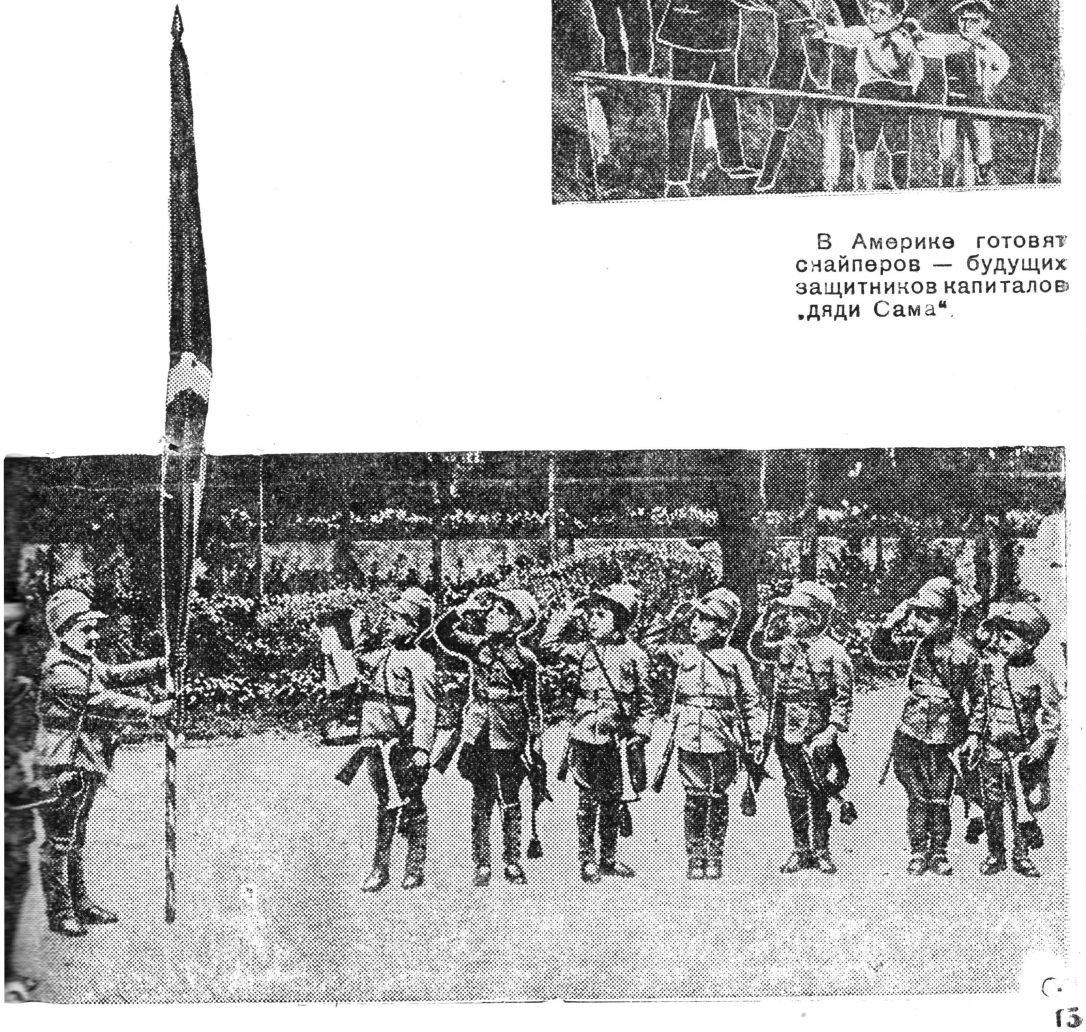
Война, ее страшный лик, глядит из каждой строки этого документа. Документ этот признает, что в мировой повестке стоит война. Тут же рядышком с манифестами о готовности бороться за мир военные спецы открыто обсуждают характер будущей войны, считая это делом решенным. Войну держат в портфелях дипломатов, в кабинетах генеральных штабов, в лабораториях ученых, конструкторов, изобретателей. Неизвестно еще, какие «сюрпризы» ожидают мир.

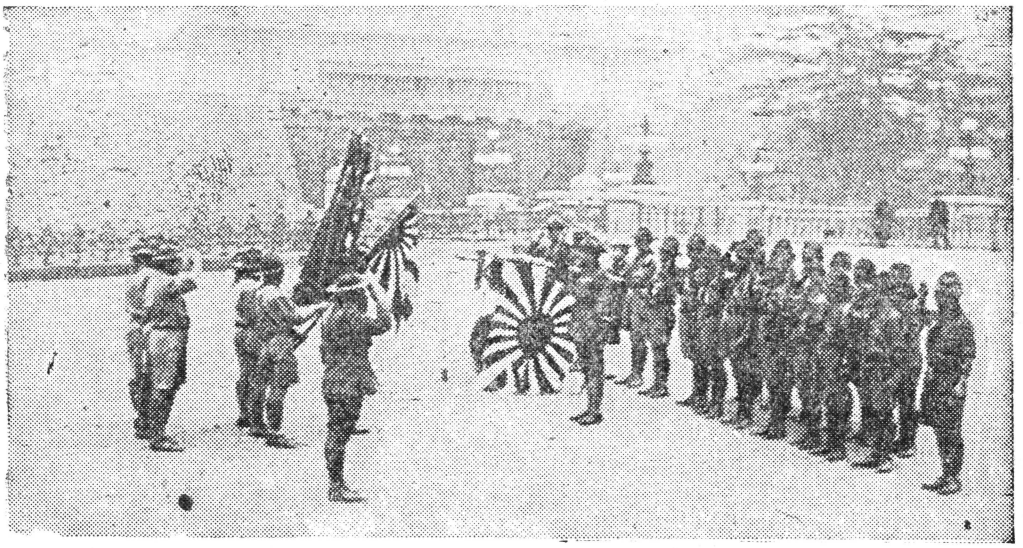


На военных празднествах в Германии шагают вооруженные отряды детей.



В Америке готовят снайперов — будущих защитников капиталов „дяди Сама".





Парад бойскаутов в Японии

«В будущей воине штаб будет помещаться на глубине тридцати метров под землей. Здесь будет сидеть джентльмен с профессиональной подготовкой и куриным мозгом. Он будет отсюда руководить чудовищным разрушением, которого он даже не в состоянии себе представить».

Эта картина, нарисованная Уэльсом, совпадает в основном с суждениями военных спецов.

Массовая армия, преимущественно крестьянская и рабочая, — какой это ненадежный материал по нынешним временам! Застрельщику войны на европейском континенте, Франции еще памятна бесславная интервенция юга России. Французские матросы и солдаты отказались стрелять по советским рабочим, по Красной армии. Дипломаты и министры, сидевшие в Париже, понукали своих генералов к активным действиям против большевиков. Но генералам было виднее, что к чему.

«Мои солдаты вряд ли согласятся участвовать в интервенции против России и Украины, — писал генерал Франше-д'Эспэрэ правительству Клемансо, — интервенция в России могла бы иметь своим результатом ряд самых серьезных и нежелательных для Франции инцидентов».

Ллойд-Джордж доказывал тому же Клемансо: «Если бы послать теперь ты-

сячу английских солдат в Россию, они взбунтовались бы. Военный поход против России сделал бы Англию большевистской и принес бы Лондону рабочий совет».

После этих событий протекли годы «мира» и «процветания». Можно сказать, что на протяжении всех этих лет в какой-либо своей части капитализм не выходил из состояния войны. Планету поделили заново, опутали побежденных договорами и репарациями, но ни одно из противоречий, приведших к войне 1914 года, не было разрешено. Наоборот, капиталистическая система проваливается в бездну новых противоречий. На основе всеобщего кризиса капитализма, после эфемерной устойчивости, после нескольких лет частичной стабилизации, пять шестых мира потрясает небывалый экономический кризис. Он парализирует все отрасли промышленности, торговли, культуры, активизирует империалистические аппетиты, увеличивает политическую реакцию, перекладывает все тяготы на плечи трудящихся.

В мировой повестке дня стоит война. Война между империалистическими конкурентами, против колониальных народов, против собственного пролетариата. И война всего капиталистического мира против СССР.

Военспецы капитализма справедливо считают массовую рабоче-крестьянскую по своему составу армию ненадежной. Военная мысль, представленная школою английского полковника Фуллера, гласит: поменьше ненадежных людей, побольше надежных машин. Грядущая война — война машин, химии, авиации. Армия должна быть небольшой, компактной, высококвалифицированной, классово однородной. В это положение полковника Фуллера деятели современного империализма вносят существенную поправку: компактная, классово выверенная, кадровая армия плюс милитаризация всего хозяйства и всего населения.

Германский генерал Сект, крупнейший из квалифицированных массовых убийц, указывает в книге своей «Об обороне страны», что наивно думать обойтись в грядущей войне без масс.

Всю нацию под ружье! Вся нация — крепость. Промышленность должна

Муссо или принимает парад

быть готова в любую минуту работать на войну!

В грядущей войне фронт и тыл сливаются в одно целое. Все эти «хеймверы», «шюцкоры», «леванте», «соколы», «штурмовые колонны» и десятки других фашистских организаций — вот откуда черпает буржуазия кадры для

фашистской организации „Баллила".

армии. Здесь воспитываются патриоты отечества, готовые перегрызть глотку всему миру во имя этого отечества, колониальные завоеватели и надсмотрщики, профессиональные убийцы революционных рабочих, злобные ненавистники коммунизма, верные стражи частной собственности.

— Ни одной улицы Берлина без гитлеровца! — выкидывает лозунг фашистская газета «Ангрифф».

И тут же рядом идет удивительная смесь из «любви к родине», антисемитизма, злобных выходок против красных, угроз по адресу держав-победительниц, фашистских рецептов спасения от кризиса и пролетарской революции.

«Молодое поколение, — пишет «Ангрифф», — хотя и родилось в рабстве, но стремится к свободе... Юношеские стремления всегда идеалистичны, поэтому мы чувствуем в национальном социализме мировоззрение XX столетия, необходимое для исцеления юной немецкой души от растлевающего марксизма... Мы, гитлеровская молодежь, готовы на все для этой цели».

Вот характерный образчик социальной демагогии фашизма.

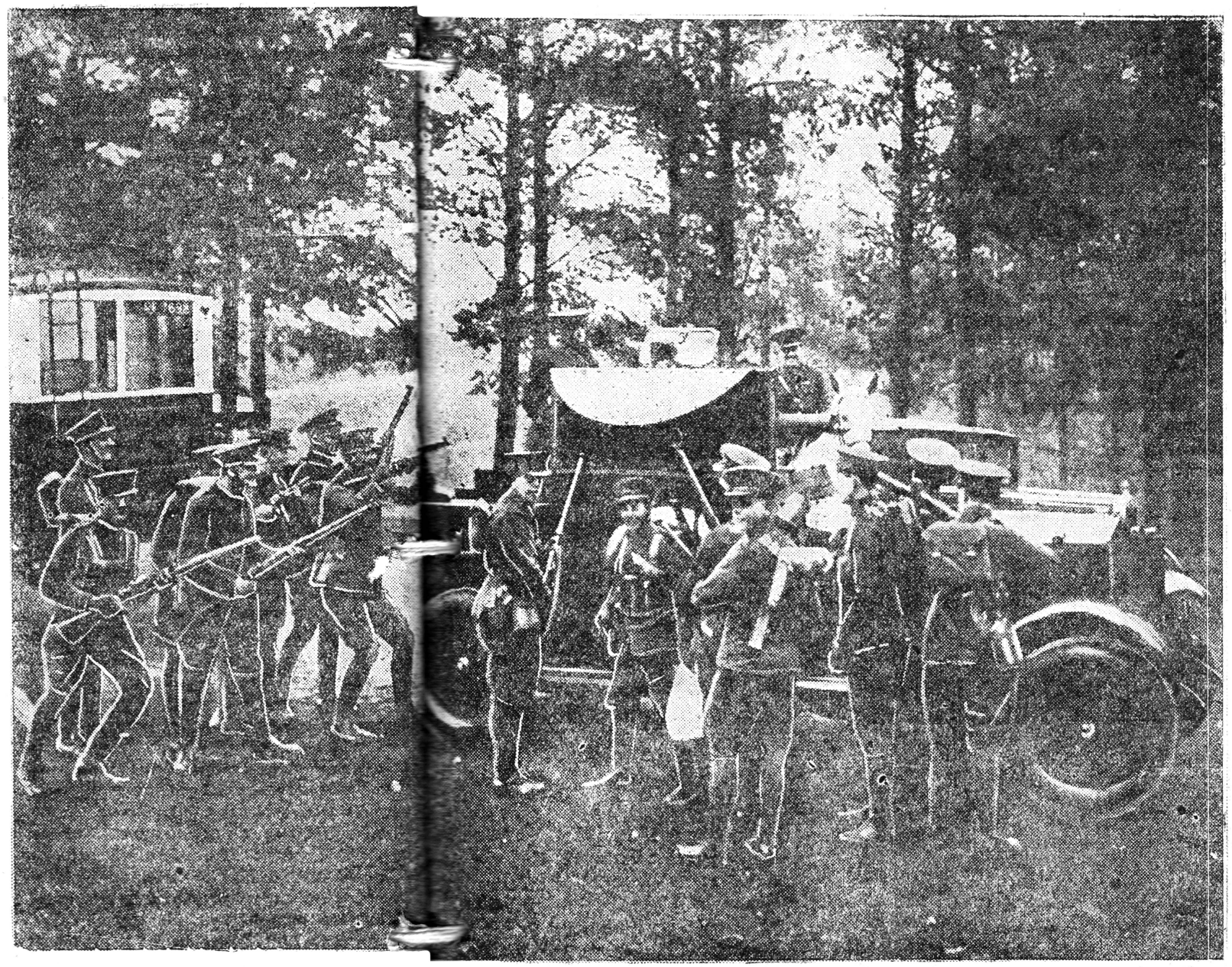
Само собой разумеется, что фашизм делает ставку на молодежь.

«Для обеих борющихся стран, — указывает программа КИМ, — как для погибающего старого капиталистического общества, так и для бурно пробивающегося вперед пролетариата, вопрос завоевания молодежи является жизненно важным вопросом. «За кем молодежь, за тем и будущее» и «за кем молодежь, за тем и армия» — эти положения выражают сущность вопроса».

Эти положения прекрасно учитывают вожди фашизма.

— Земля создана не для трусливых народов, — говорит Гитлер, — тот народ, который боится взять в руки оружие для борьбы за свое освобождение, недостоин существования... Молодежь призвана спасти Германию, именно молодежь, потому что старое поколение оказалось неспособным, — оно погубило Германию.

А вслед за этими высокими словами «Ангрифф» добавляет:



Фашисты готовят себе армию для грядущих классовых схваток.

— Покупайте только у немцев! Не женитесь на еврейках и не выходите замуж за евреев!

Таково «мировоззрение XX столетия, необходимое для исцеления юной немецкой души». Эту юную душу фашисты начинают воспитывать с раннего детства. О, прекрасная пора, золотое детство, когда зерно истины дает такие обильные всходы!

Ученики слушают господина пастора.

— Во Франции чернь хотела захватить власть в свои руки, но среднее сословие, эта золотая середина, вырвала власть из рук черни — и все пошло хорошо. В Германии было почти то же самое. Регулярные войска успокоили чернь. В России же случилось иначе. Там чернь захватила власть, и потому Россия такая отсталая сейчас. В деревнях России до сих пор живут людоеды. Может ли бог смотреть на это безучастно? По-моему Россию надо разделить между другими державами, чтобы дать ей развиваться.

Так шаг за шагом, со ступеньки на ступеньку, восходит к истине юная душа. Владелец юной души вовлечен в итальянскую «баллила», или же он скаут-волчонок или начинающий «рейхсбаннер». Он твердит слова «баллилы»— «Бог и Италия» или скаутское «всегда готов».

— Мы, волчата и следопыты всего мира, приняли в наследство благороднейшие заветы средневекового рыцарства. Каждый самый бедный, самый маленький из нас может стать рыцарем и без того, чтобы добрая фея положила ему корону в люльку.

О, прекрасная пора, золотое детство!

— Слушай, мальчик, — говорит ему человек в военной форме, — мне рассказали, что ты плакал, читая «Хижину дяди Тома». Это значит, что сердце твое не закрыто для добрых чувств. Но ты должен знать, что времена, тяжелые для черных и цветных людей, прошли давно. Не закрывай сердца для добрых чувств, но помни: могущество нашей великой страны — в колониях. Поддерживать честь и славу этой страны могут люди, не знающие слез. Повторяй за мной слова присяги: «скаут верен королю, отечеству, родителям, предпринимателям». Твои товарищи, которые были скаутами во время великой войны, двадцать пять тысяч юных героев вместе боевую охрану и работали на заводах военного снаряжения. Другие тысячи твоих товарищей стали к станкам, когда бунтовщики объявили забастовку. Ты знаешь, что на свете очень много злых людей, которые желают вреда нашей родине, нашему королю, нашим родителям. Эти злые люди — коммунисты, которые хотят разрушить все, что мы с таким трудом создавали сотнями лет, дурманят головы твоим товарищам, твоим одноле́ткам, и вместо того чтобы стать скаутами, они становятся пионерами и комсомольцами. Долг каждого скаута — предупредить это и объяснить товарищу, как опасно и преступно быть пионером и комсомольцем. «Задача скаутизма — бороться с большевизмом и революцией».

...И вот на «Плаца дель Полла», или на площади короля Георга, или на Марсовом поле Парижа, его передают из «Балилла» в «Авангардию», из следопытов в скауты, из юных рейхсбаннеров во взрослые, в союз «Войничи». или

шашистские штурмовики.

«Стрелец», или «Чернедани». Он — студент, бурш, корпорант, спортсмен, защитник родины, патриот, хранитель государственного порядка.

«Юношеские стремления всегда идеалистичны!»

Вот приехал в Америку писатель Люк Дюртен. Его приветствовали делегаты от студентов.

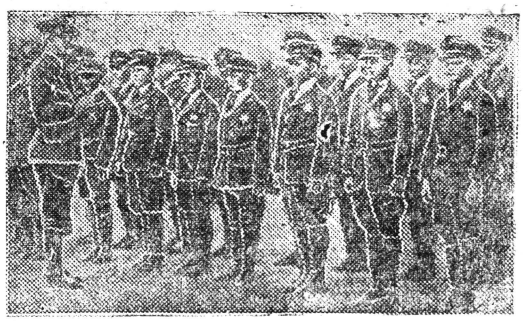
«На гладкой цементированной дорожке, разделяющей огромные университетские корпуса, выстроились пятьдесят студенческих делегатов... Я медленно обложу их взглядом. Как они все крепко сделаны! Под их короткими куртками чувствуется мощь натренированных мускулов. Обветренные лица дышат спортивной решимостью. Кто же они в самом деле — команда профессиональных футболистов или отборные представители мыслящего человечества?»

Так заканчивает Люк Дюртен.

Против кого же направлены эти кулаки натренированной юности, до краев полной спортивной решимости? Вкратце это происходит так.

Профессор Куза, вождь и идеолог румынского студенчества, на ежегодном

Вождь германских фашистов Гитлер.



Из детей готовят полицейских

конгрессе произносит ежегодную речь. Либеральная партия приносит съезду теплые поздравления и призывает, не щадя жизни, защищать отечество от внешних и внутренних врагов. И тогда начинается.

Несколько тысяч отборных представителей «мыслящего» человечества потрясают своими кулаками, дубинками и револьверами. Еще за несколько дней до съезда евреи, венгры, бессарабцы в ужасе покидают ближние к Бухаресту городки и селения, с опасностью для жизни переходя границы родины. Но услужливые чины полиции инструктируют разгневанных патриотов относительно местопребывания оставшихся в городе инородцев и инакомыслящих. И вот уже звенят стекла, уже скрежещут двери, срываемые с петель, уже пылают дома, вещи, мастерские, лавки, книги, уже не работает телеграф, соединяющий Румынию с цивилизованным миром. То есть телеграф работает, но не работают корреспонденты. Они могут удовлетвориться официальными данными румынского телеграфного агентства «Радор».

«Произошли небольшие эксцессы со стороны отдельных групп, — стрекочет Морз. — Принятыми мерами порядок восстановлен».

Какая блестящая техника разбоя! Впрочем уровень этой техники интернационален. Гитлеровские молодцы или юные чернорубашечники «Авангардии» — они стоят один другого. Американская студентка Керри Эдвин, руководительница небольшого военизированного отряда, сообщила для печати следующее:

— В случае войны я отправлюсь на фронт со своей ротой. Я изучила историю всех крупных сражений, начиная от Ганнибала и кончая генералом Перкинсом, и знаю солдатское ремесло. Если Жанна д'Арк стояла во главе армии, то могу и я повести полк.

Понятно, против кого поведет полк эта современная Жанна д'Арк!

О, зрелая юность, «всегда идеалистическая в своих стремлениях»!

Но есть другое детство, и другое отрочество, и другая юность. Есть детство, которое с семи, восьми, девяти лет проходит в шахтах, в изнурительном суточном труде на плантациях, в батрачестве, на фабрике и заводе. В Германии около двух миллионов детей батрачествует у чужих людей. Полмиллиону из них менее десяти лет. Свыше трех миллионов детей, начиная с десяти лет, надрываются в непосильной работе на предприятиях Америки. Большинство учащихся пролетарских детей всего мира работает после школы до позднего вечера. Они с колыбели проходят жестокую школу жизни. О, прекрасная пора — золотое детство! И не менее золотое отрочество и юность. Это отрочество, эта юность находят другие пути. Пионер — комсомолец — член коммунистической партии.

Эта юность не дает сломить себя несмотря ни на что. Это миллионы пылающих сердец и сжатых кулаков. Они разжимаются для того, чтобы взять оружие, чтобы бороться этим оружием с милитаризацией молодежи.

«Только наша винтовка бьет для того,
Чтобы больше винтовок не было».

Над их детством, над их отрочеством и юностью звучат бессмертные слова бессмертного вождя пролетарской революции:

«Ты вырастешь скоро большой! Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять против своих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как это советуют тебе делать изменники социализма, — а для того, чтобы положить конец эксплоатации, нищете и войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения ее».

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ"

Над городом вста ало утро. На окраинах гудели гудки, собирая к городским воротам еще не очнувшихся от сна рабочих.

Здесь, у этой стены, молодежь познавала запах пороха и дышала горячим воздухом забастовок и баррикад.

15 ЛЕТ КОМСОМОЛА

КРАТКАЯ ПОВЕСТЬ О ВОЕНКОМЕ ЕГОРОВЕ

М. БРАММ

Рис. М. Таранова

Прошел только час, может быть два после обидного, а главное — совершенно беспричинного увольнения с завода...

Человек сидит в скверике, и кажется ему неудобной скамейка... И солнце кажется ему невозможно жарким... И люди проходят мимо только для того, чтобы смеяться над ним...

— И за что выкинули?.. У-у, сволочи! гады!

Спокойная мысль приходит не сразу. Во всех деталях вспоминается неожиданная встреча на заводском дворе с приставом Феофановым... Вспоминается его насмешкивая улыбка, его издевательское «здравствуй, цыганенок!..» И злит его шинель с блестящими пуговицами и усы, нафиксатуаренные и торчащие кверху своими тонкими концами... «Выдрать бы их у стервеца!.. И зачем не выдрал?..» И вспоминается контора и управляющий, который вскоре после пристава вызвал к себе «цыганенка»... Этот кричал, что «таких» бы выдрать нужно, что гнать «таких» мало... И выгнал «цыганенка» с паспортом и подзатыльником...

— За что? — вот ведь главное. За что? — спрашивал себя человек, и вся злоба, первая, еще пока неосознанная, направлялась на пристава Феофанова, того самого, который бил «цыганенка» за листовки на заводе Эриксона, того, из-за которого его прогнали и сейчас с другого завода...

А дома — большая семья, дома голод... А за спиной уже пройденные заводы «Айваз», «Эриксон», «Парвиайнен» и даже лавка «Скорохода»...

И постепенно от мыслей обо всей этой жизни и обо всем своем пятнадцатилетнем прошлом, — потому что человеку было только пятнадцать лет, — начинала утихать обида от последнего случая... И постепенно не стало в скверике ни скамейки, ни солнца, ни людей... Остались

одни только мысли — первые мысли, сознательно связывающие частное с общим...

И начинает понимать Серега, — это в полиции окрестили его «цыганенком», — что и на сегодняшнем заводе, откуда его уволили «задаром», «виноват» он был своим прошлым. Не за определенную листовку, не за эту забастовку, во время которой он лупил гайками штрейкбрехеров, и даже не за «неуживчивость» с мастером уволили его сегодня, а просто как «такого», который уже замечен полицией. Значит Серега не один, и нет у него «личной обиды» на Феофанова, как нет и «пристава Феофанова», а есть только смертельный враг его, Сереги, и его друзей.

Личные обиды? Плетки казаков на стачке рабочих «Айваза»?.. Опрокинутый полицейскими гроб на гражданских похоронах рабочего, попавшего под шкив?.. Мордобитие Феофанова за листовки к «встрече» Пуанкаре?.. Увольнение за то, что Серега-отметчик принимал померки у опаздывающих социал-демократов?..

Но вместе с ним били и Калинина, и Пятакова, и Комарова, у которых Серега брал листовки... Но за опрокинутый гроб и сорванные красные ленты с венков не один Серега, а тысячи рабочих бросились, обезумев от злости, на полицию... И в тысячи стреляли городовые, а затем и казаки...

Нет, нет уже личной обиды. Есть что-то совсем другое, название чему Серега скоро узнает из книжек... Сейчас он еще самому себе ставит трудные вопросы о государстве, о полиции, о связи с ней фабрикантов, но самому осмыслить ответ на такие вопросы, когда нет еще полных пятнадцати лет, когда знаний — только два класса начальной школы, а работы — четыре года, — самому ответить на такие вопросы трудно. Вот старшие... Старшие, собрания которых на Объездной он вместе с товарищами караулит на улице... У них ответ, с ними его путь. Он читал их листовки. Это старшие призывают к борьбе с царем, значит они знают все — знают главное... Эти старшие, кажется, любят Серегу может быть за то, что и сам он их очень любит... Может быть поэтому они неоднократно устраивали «Длинного» — так звали его старики — на работу... А может и за другое — за то, что Сережа смелый, за то, что он выдумщик, за то, что он ни разу не сказал полиции, кто дал ему листовки...

Сегодня Серега встретится с дядей Наумовым или дядей Абрамовым. Он попросит у них уже не только работы, но и книжек, потому что в скверике после первой неосознанной злости появилось много и неосознанных вопросов.

Сегодня Серега стал взрослым... Но поступить на работу было трудно.

Была война и была звериная реакция. Заводы работали «на оборону» — и Сереге Егорову там места больше не было. Тогда не стало Сереги Егорова. Вместо него объявился на Выборгской стороне некто Николай Ивановский. «Николая Ивановского» полиция не знала, так как паспорт ему был выдан не участком, а большевистским комитетом, и поступить на завод ему разрешалось...

Серегу... то бишь Николая устроили на работу, но к этому времени парень оказался совсем уже непригодным для завода, работающего на войну... Во-первых, у «Николая» появились книжки. Он стал посещать библиотеку имени М. Горького (на Моховой), где собиралась тогда революционная фабричная молодежь. Молодой и неосторожный «Николай» рвался, пока еще непрошеный, в агитаторы. Его на заводе заметили, а это значило опять попасть в лапы полиции. Время было жестокое, любое обнаружение крамолы грозило по меньшей мере Сибирью, а «Ивановский» по паспорту на Сибирь уже имел право... И старшие товарищи, те, которые заботились о таких, как Серега, решили его с завода убрать. Если не они уберут — уберет полиция...

И устроили Сергея для полной безопасности слесарем к кустарю. Работал там вместе с ним один латыш-большевик. Работа бок-о-бок со старым большевиком еще больше укрепила Сережины знания и убеждения.

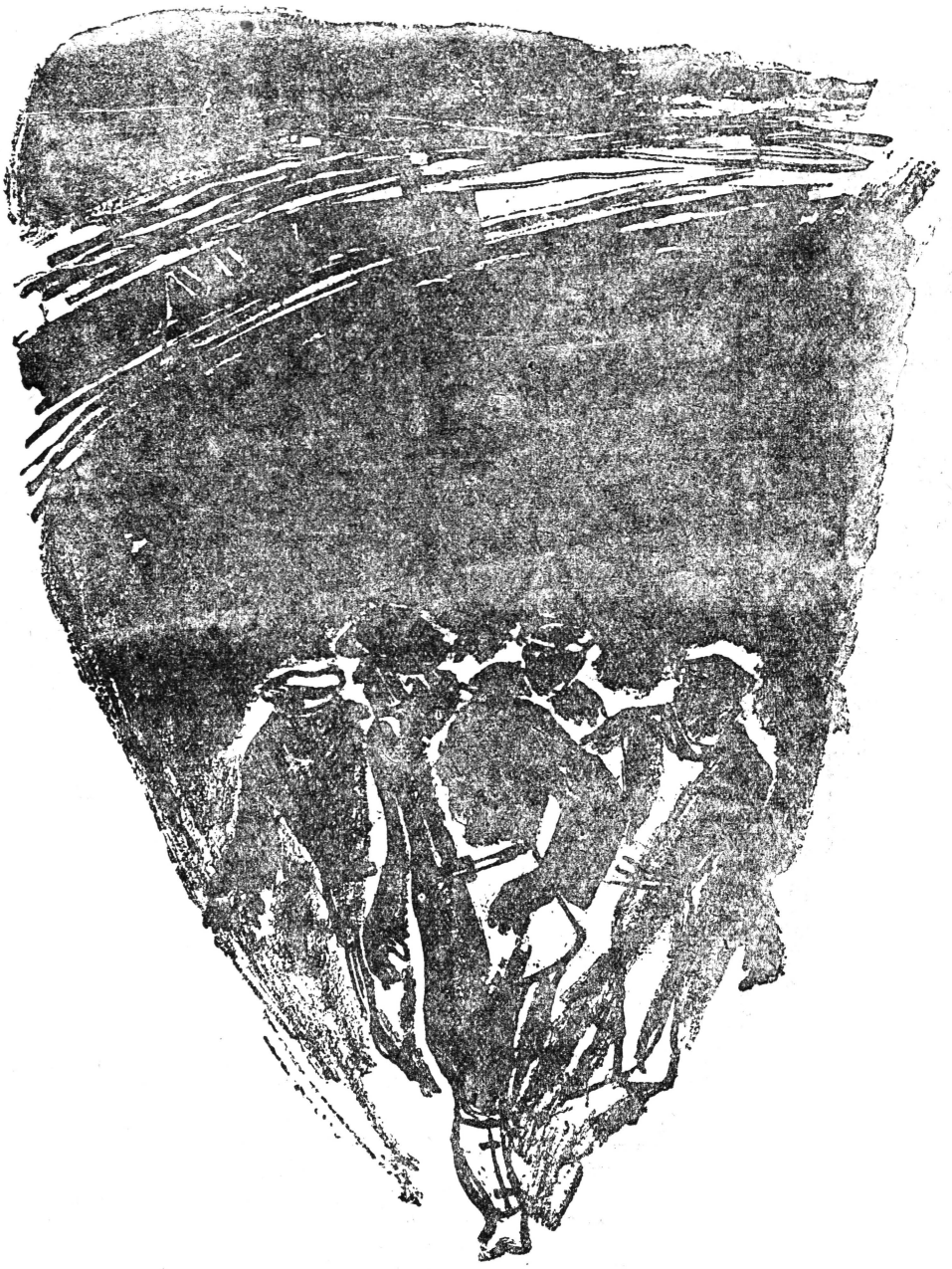
А война затягивалась. Реакция становилась все резче. Собрания комитета происходили почти каждый раз в новом месте, и уже многих из тех, с которыми Сергей познакомился на заводах «Айваз», «Эриксон», «Парвиайнен» — недосчитывались тогда на собраниях... Одни были убиты на войне, другие сосланы, третьи заключены в тюрьму. Но все чаще и чаще говорил латыш о революции. Он рассказывал Сергею о боевом настроении старших. Он объяснял ему, что крестьянство, истощенное войной, дошло до предела в своей ненависти к монархии, что теперь в контакте с революционным крестьянством рабочие сумеют докончить то, чему начало было положено в пятом году... Первый раз Сергей из уст этого латыша узнал диалектику, когда тот пояснил ему революционную ситуацию России поговоркой: «чем хуже, тем лучше».

Борьба, о которой Сергей уже знал, к которой он внутренно давно был готов, назревала. Назревала большая борьба, а вместе с ней и большие победы. В эти победы он верил и сейчас, и потом в боях, и в плену, и под расстрелом. Верил твердо и всегда.

НАЧАЛО БОРЬБЫ

На Выборгской стороне февраль начался с политических забастовок почти всех заводов. Вначале демонстрировали мирно, очень организованно, с революционными песнями. Разогнать рабочих полиции не удавалось, так как на улицу вышло несколько десятков тысяч. Стрелять «фараоны» не решались. Но вскоре рабочие сами начали обезоруживать полицию, срывать погоны с проходящих офицеров. Тогда правительство бросило на Выборгскую сторону казаков. Начались баррикадные бои, а вскоре и восстания солдат.

С баррикад Серега перешел к восставшим солдатам второй автомобильной роты, в которой он имел большевистские связи. Рядом с автомобильной стояла на Выборгской стороне самокатная рота, которая отказалась примкнуть к восстанию. Самокатчиков взяли с боем. На броневике, который атаковал самокатную роту, Серегу на ходу обучали стрельбе. Солдат показал ему, как заряжать винтовку, сделал два выстрела, а третий Серега уже произвел сам. Это был его первый выстрел в первом бою.



Самокатная рота сдалась. В цейхгаузе самокатчиков вооружились автомобильщики. Серега нацепил на себя гранаты, два револьвера, карабин. Отныне и до конца гражданской войны, до последнего выстрела на фронте Серега не снимал с себя вооружение.

На броневике он штурмовал Окружной суд и освобождал заключенных из «Крестов».

Россия стала революционной.

В первые дни Февраля Серега — еще партизан, одиночка. Он то на броневике с большевиками, то в охране города со студентами-эсерами. Дома не стало, мастерская кустаря забыта и, кажется, забыты старшие товарищи из большевистского комитета. Но это — первый хмель, опьянившая Сергея борьба и свобода. Вот Костин — один из большевиков Выборгского района. Они встречаются на улице — и с первых слов своего старшего товарища Серега начинает понимать свою ошибку.

— Мы только начинаем, Серега... Ты пойми, парень... не пристало тебе, большевику, разбазаривать свои силы, как атлету в цирке... Марш со мной!

Костин повел Серегу в Лесной подрайон, Серегу официально оформили в члены партии и вместе с красной книжечкой выдали ряд инструкций, указали, что делать, как использовать свои неумелые молодые силы — и послали

на завод. Теперь заводы нуждались в таких, как Серега.

Во-первых, понадобилась организация заводской охраны — той самой, из которой вскоре образовалась Красная гвардия... Серега начинает создавать охрану на заводе Струка и вместе с ребятами обучается военной технике и тактике гражданского боя. Этому учил их солдат, большевик Куликов.

Во-вторых, на заводе начали организоваться группы учеников. Организации эти попадали сначала под меньшевистское влияние, — надо было разъяснить парням, что им не по дороге с меньшевиками. Надо было и им объяснять, что борьба только начинается и успокаиваться или опьяняться первыми успехами нельзя.

Сережка Длинный очень скоро овладел доверием своей организации учеников и был выбран в исполком молодежных организаций Выборгского района. В исполкоме Выборгского района вскоре после Сережи появился некто Шевцов. Шевцов был необычайно красноречив, и молодые неопытные ребята были им так сильно увлечены, что в самое короткое время он овладел всей организацией. Шевцова избрали председателем Всерайонного совета — и хоть вместе с ним вошли туда и рабочие парни, как Сергей Егоров, Дрязгов, Бурмистров, Цейтлин, но «политика» Шевцова брала верх. «Политика» же его заключалась в том, что, мол, молодежь — нежные цветы земли, нам нельзя бороться, как не борются цветы, а только наслаждаются солнцем и светом... Вмешавшись в борьбу, мы опалим свои молодые крылья (он почти буквально так говорил) и изуродуем себя на всю жизнь. Мы должны в своей среде, пока молоды, готовить примерных жен и хороших мужей, а в политику, сохрани бог, ни за что не вмешиваться...

«Тактика» была не очень хитрая, но вместе с «политикой» делала свое дело. Комната, где происходили заседания совета, была убрана сплошь в голубом цвете. И обои, и мягкая мебель, и ковры, и даже скатерть на столе заседаний были голубые. Ораторов Шевцов просил говорить тихо, не волноваться, как взрослые, а приучаться к вежливости... на заседаниях просил не курить... В клубах же, где собирались ребята, он отвлекал их внимание от политических вопросов — ботаническими гербариями, коллекциями самоцветных камней, глобусом, микроскопом.

В этом заключалась «политика и тактика» союза «Труда и света».

Рабочие парни собирались на заседания совета и действительно первое время были подавлены обстановкой... Говорили и в самом деле тихо, ходили осторожно по ковру, боялись испачкать кресла. Во время выступлений, стремясь к вежливости, забывали аргументацию и потому говорили длинно и вяло... Но нутро протестовало! И вот первый бой — уже не «вежливый», а горячий и настоящий бой, который рабочие парни дали Шевцову по вопросу об уставе. Основной, вызвавший баталию — помимо «жен и мужей» и декларации о нежных цветах—был пункт, не разрешающий членам организации до 21 года вступления в политическую партию. Но бороться с Шевцовым в совете было трудно и потому, что он убедительнее всех говорил, и потому, что он навербовал себе немало сторонников. Устав был принят при четырех воздержавшихся.

Призывы к борьбе П. К. Крупской, которая посещала иногда совет, Шевцов отбивал десятками выступлений меньшевиков. Приходили и Гвоздевы и даже представители от Керенского...

Устав был принят, оставалось обнародовать его на общегородской конференции молодежи. Деньги на организацию конференции собирали по заводам, но не постеснялись взять и у Нобеля 360 рублей («Мы в политику не вмешиваемся»). На конференции ребята готовились опять вступить в бой с Шевцовым, но определенного ядра, организованной оппозиции не было, хотя раскол совета была налицо. Шевцов тоже собирал свои силы, готовил и шпиговал своих ораторов. Но события, происходящие вне совета — политические события в стране сами лучше всего настроили молодежь, и никакие горячие речи Шевцова не могли изменить их решение принять участие в борьбе.

3—5 июля убило последние иллюзии. Меньшевики навсегда потеряли авторитет у рабочих, а значит и у рабочей молодежи. Июньское неудачное наступление на фронте, стоившее таких невероятных жертв стране, расстрел безоружных рабочих демонстраций, требовавших смены министров и прекращения войны, — что здесь отличает меньшевистское правительство Керенского от правительства царского?

Сережа в эти июльские дни вместе с моряками направлялся к Таврическому дворцу. Вместе с ними он выбросил из окон двух офицеров, обстреливавших демонстрантов. У Сережи опять начинался пыл первых Февральских дней.

И опять Костин:

— Слушай, парень! Большевики не начинали демонстрации... Это стихийная, понимаешь, злоба... Для начала еще рано... Мы, напротив, должны удержать рабочих и солдат, так как еще не созрели события и нет у нас еще настоящей силы... Оружия мало!.. Беги к ратникам ополчения, — они идут к особняку Кшесинской, — скажи им, что ты большевик, что рано еще, что это меньшевистская провокация, что большевики сами позовут, когда придет время. Скоро позовут... Беги!

И когда прибежал Серега ко дворцу Кшесинской, он увидел Ленина, Семашко, Смилгу... Они просили толпу разойтись по домам. Вооружиться. Быть готовыми. Но не выступать без призыва.

Вооружиться! Быть готовыми! Вот зачем Сережку Егорова пригласила к себе Крупская.

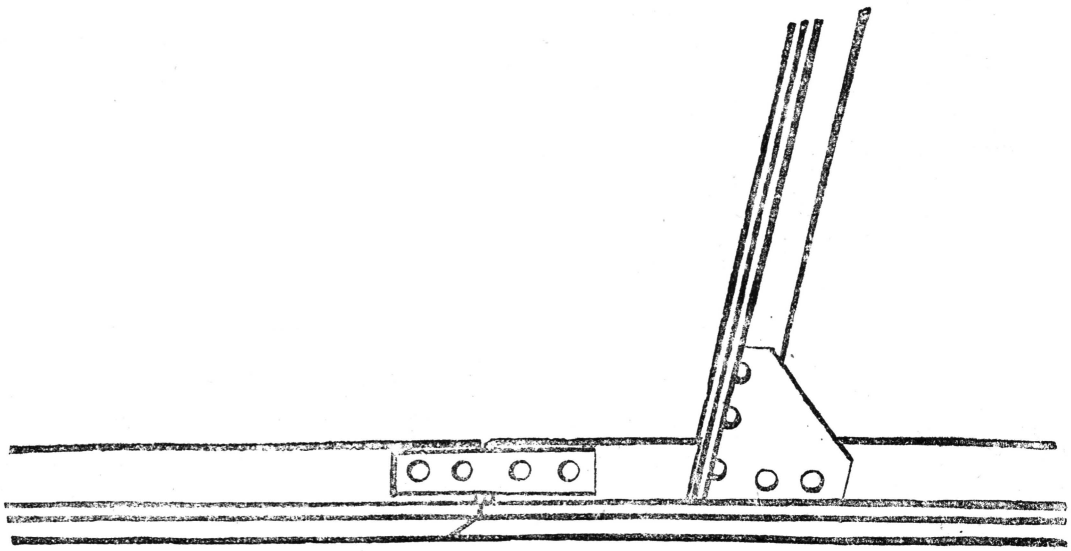
— Я знаю тебя, парень. Ты горячий, но не зажигайся раньше времени, — выгоришь без толку... Ты большевик, так слушай приказ!

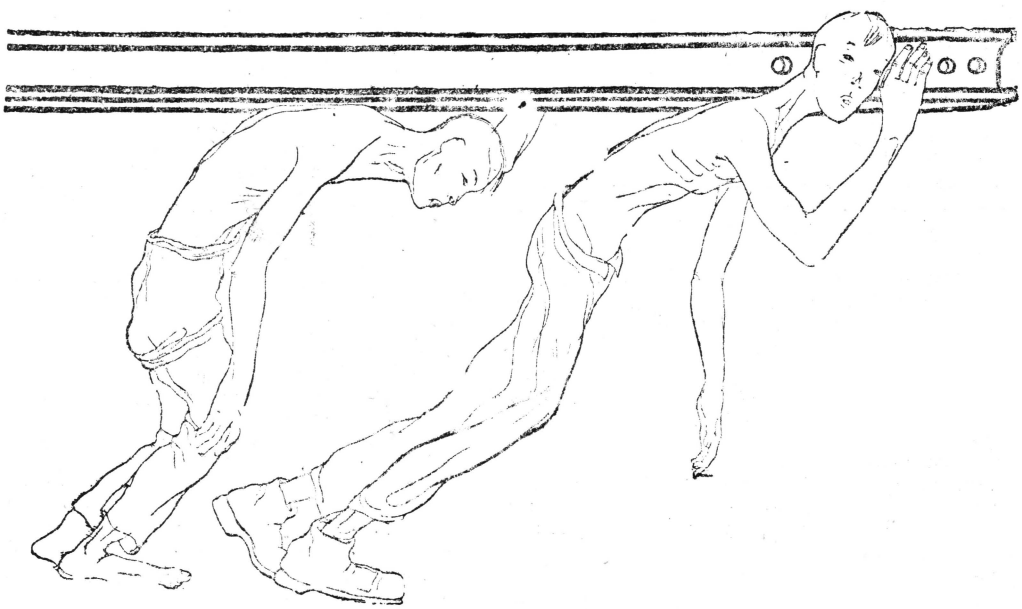
И поручила Сереге организовать в Выборгском районе отряды Красной гвардии из молодежи. Дала удостоверение и инструкции.

Молодежь шла на борьбу, вооружалась, а Шевцовы ставили им на дороге широкие кресла, обитые голубым бархатом: споткнетесь, ребятки, не лучше ли отдохнуть!..

А тут еще меньшевистское правительство намеревалось арестовать Ленина — любимого вождя большевиков и большевистской молодежи. Ленин ушел в подполье. Отношения до сих пор еще кое-как ладившей между собой

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ“





В те времена любили поговорить о юности. Ее воспевали выщелкивали на все лады, сравни али с пунцовой розой, выросшей в необъятном саду России.

Вы видите, что на рисунке изображен „цветущий“ чугунный сад в котором проходила так называемая „золота юность“ рабочего подростка.

меньшевистской и большевистской молодежи обострились до предела. С Шевцовым еще до конференции оставалось меньшинство. А когда на общегородской конференции — 31 августа — появились молодые большевики Алексеев, Смородин, Левенсон, — от Шевцова остались одни только слезы... Он по-настоящему плакал от «безобразных» речей Васи Алексеева и Смородина. И Егоров, и Цейтлин, и Бурмистров (даже «свои») покрыли на конференции «трудосветовского главаря». На конференцию собралось много молодежных организаций. Помимо «Труда и света» были там и «III Интернационал» и «Звезда победы», и многие другие, и все, как один, декларировали свое большевистское направление приветственной телеграммой вождю партии, Ленину.

«Труда и света» не стало, — вместо него образовался Социалистический союз рабочей молодежи — с Васей Алексеевым во главе исполнительного комитета.

Сережа Егоров, секретарствовавший на конференции, вошел и в исполком, но к тому времени он был уже не только организатором, а и инструктором отряда Красной гвардии, насчитывавшей уже сто семьдесят винтовок. Там, в отряде, шла самая горячая работа Сережи. Связанный с Крупской, он знал о готовящемся восстании и был целиком занят подготовкой бойцов.

Шел Октябрь — организованное восстание, руководимое большевиками. В районах были созданы штабы Красной гвардии. Попытка обезоружить «заводские охраны», предпринятая правительством Керенского, не привела ни к чему. О налетах юнкеров отряды были извещены штабом — и оружие было припрятано. Днем и ночью шла подготовка красногвардейцев. Вооружались, как только могли.

Однажды, например, Сережа днем буквально из-под носа у охраны вывез на извозчике шесть ящиков патронов с завода Лесснера.

Бурмистров, разыскиваемый после июльских событий, спрятался у матери Сереги и весь свой матрац набил револьверами и гранатами...

Крупская почти каждый день вызывала к себе Серегу, а затем и Бурмистрова, которому также поручила формирование отрядов.

— Ну, сколько на заводе «Эксваль» красногвардейцев?

— Двенадцать...

— А ты сделай сто двенадцать! Агитируй, вооружай. Да побольше рабочих ребят, понимаешь! Восстание близко, смотри! Партия доверила тебе ответственное дело, самое центральное сейчас... Если мы не расправимся сейчас в Временным правительством, нас сотрут в порошок.

Ответственность воспитывала Серегу. Куда пропала детская горячность! Восемнадцать лет, — но это был уже агитатор, боец, руководитель. Он дисциплинировал своих ребят и словом и примером. Ни одной ночи Серега не провел вне штаба своего отряда на заводе Струка. Он знал каждого красногвардейца в лицо, по имени, знал, какая у него винтовка, знал, что и кому можно поручить.

Дней за пять до восстания Серега получил приказ — перевести отряд на казарменное положение. А лично было сказано: всеми мерами, каким угодно способом удерживать ночью ребят на заводе и по возможности в одном месте.

Сережа придумал вечеринки. Чего лучше? И в одну из таких вечеринок прилетел вестовой и, обменявшись паролем, передал распоряжение немедленно во всеоружии прибыть в распоряжение штаба.

Это было в ночь с 24 на 25 октября.

БОРЬБА

В эту ночь началось настоящее

Теперь уж Серега сел на броневик не случайно, а по приказу штаба.

На броневике он разоружал кадетов. С гранатой в руках он влетел в дортуар кадетского корпуса, но застал там только черные кадетские шинели... Кадетики смылись без шинелей, оставив небольшую кучку спящих и больных...

На броневике он приступом брал Зимний.

Ночь. Электрический свет в городе погас. Броневик оставлен на улице. Лавиной несутся по лестницам Зимнего восставшие рабочие и солдаты. Зимний не сдается. Юнкеров берут по частям — из залы в залу, из комнаты в комнату. Юнкера взяты, расстреляны, убиты, выволочены на улицу. Последний приступ — это на забаррикадировавшихся баб из «батальона смерти». Статуи, канделябры, столы, кресла... Господа офицеры устроили баррикады из ценной мебели и статуй.

Зимний был взят к рассвету

Другие отряды в эту же ночь захватили банки, вокзалы, государственные учреждения...

Питер стал большевистским. Но в окрестностях — по Балтийской, Финляндской, Витебской железнодорожным линиям еще «заседали» меньшевики. Сереге поручили сменить меньшевистских правителей по Финляндской дороге. Там еще сидела милиция Керенского и старые офицеры... Надо было их сменить, но сделать это тихо, осторожно, с таким расчетом, чтобы не пришлось посылать военной силы.

Сергей выбрал из своего отряда двенадцать человек и неожиданными ночными налетами обезоружил милицию в Удельной, Озерках, Шувалове, вплоть до Парголова — на границе с Финляндией. Ночью же он сменял «власть», увозил арестованных в Питер, а на их месте оставлял рабочих или бедных крестьян из финнов. Так без единой жертвы Сергей произвел революцию в финляндских деревнях и с этим же небольшим отрядом остался в Парголове на охране границы.

Сережу в штабе заметили... Мальчишка очень даже годился в дело...

Финляндская коммунистическая партия готовилась к восстанию. Нужна была помощь. Сергей был отозван со своим отрядом из Парголова, ему поручили обучать красногвардейские отряды из финнов, формируемые большевиками, братьями Рахья.

Сформированные отряды отправились в Финляндию. Там в борьбе с немецкими генералами Сергей перешел на бронепоезд. С этим бронепоездом Сергей шел потом на немецких оккупантов, на белополяков, на Махно, на Врангеля, на грузинских меньшевиков...

В Финляндии Сергей был два раза ранен. Был взят в плен, но его выручала смелость,

Был обвинен предателем-офицером в предательстве, но его спасла от расстрела находчивость. Потом он просто на глазах у Эйно Рахья, командовавшего фронтом, застрелил этого офицера, когда выяснилось, что снаряды, которые Сергей случайно обнаружил в одном блиндаже, были спрятаны этим изменником, в то время как пушки остались без снарядов.

Сергею не могли не верить, потому что его близко знали Эйно Рахья, Подвойский, Фабрициус. Все прошлое этого «подростка» стояло за него.

Маннергейм окружил Красную гвардию железным кольцом. Два раза пытались красногвардейцы прорваться через фронт противника, но противник был вооружен бронепоездами и авиацией, и прорывы не удавались. Кольцо вокруг пятитысячной армии красных, стоявших вокруг Таммерфорса, все суживалось и суживалось. Сергею поручили слетать на аэроплане к Эйно Рахья с докладом. Выслушав, Рахья отправил Сергея обратно. Обратно — на верную смерть!.. Один только раз дрогнула

Прорываться пришлось кружным путем.

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ"

Вот они – воспитатели молодежи. Один из них учил слову божьему, терпению и кротости.

— Сыны мои,—говорил он.—Вы должны смирять свою непокорную кровь и, как Христос, прощать всем согрешившим против вас до семидесяти семи раз.

Другой учитель был более строг. Он учил матерщине, лизоблюдству и провокации. Толстые свои кулаки он прикладывал к скулам нерасторопных учеников.

Ну, а третий? Третий, видите ли, был либерал, человек с душой ангела.

решимость Сергея, он хотел попросить у Рахья оставить его здесь, у себя... Но не попросил. Улетел... Помощь со стороны Питера не могла быть прислана, и прорываться через армию Маннергейма пришлось кружным путем: через его тыл, к шведской границе, а оттуда в Питер... Из отряда Сергея в пятьдесят человек вернулось только семь. Сорок три было убито — в бою и в лазарете Таммерфорса...

Крещеный длительной, суровой борьбой Сергей возвратился в Ленинград с незажитыми ранами и истрепанными нервами. Но еще больше был истрепан броненоезд, а еще им обоим — и Сергею и броненоезду — предстояло очень много дела... Броненоезд стал в ремонт, а Сергею ремонтироваться было некогда. С отрядами самых крепких коммунистов он поехал на подавление эсеровского мятежа в Ярославль. А оттуда уже военкомом своего броненоезда, в рядах реорганизованной Красной армии, он поехал на немцев, под Псков... Этим броненоездом Фабрициус закрыл фронтовую брешь, когда изменник Балахович перешел на сторону немцев... Этот же броненоезд погнал немцев через Вольмар, Венден, Юрьев — к Латвии.

И вспоминаются два случая, особо ярко рисующих Сережу — одного из первых бойцов Красной гвардии.

Командный состав — особенно в автоброневых частях — весь состоял тогда из бывших офицеров. Своих еще не было. На броненоезде, имевшем вначале первый номер (потом тридцать первый), на котором воевал Сергей, было четыре офицера. Война с немцами в Латвии затянулась и была очень изнурительной. Наши части состояли из китайцев и латышей, и дрались они со смелостью, которая теперь уже кажется легендарной. Но многие офицеры перешли к нам, вынужденные обстановкой, и далеко не все, конечно, остались до конца... Четыре офицера из броненоезда № 31 решили перейти к немцам... Сергей был как раз в штабе западного фронта, и именно в его отсутствие замышлялась измена. Возвратился Сергей из штаба неожиданно ночью.. Ребята рассказали ему о своих подозрениях. За офицерами начали следить, и действительно — ночью, во время затишья, офицеры выбрались из поезда и направились к линии немцев. Изменников задержали. Оружия при них не было, — они несли с собой только старые офицерские документы... Команда потребовала расстрела. Но ведь Сергей был военкомом. На нем лежала ответственность за броненоезд, за участок фронта. Без командного состава, — рассудил Сергей, — броненоезд выйдет из строя. Офицеры клялись искупить свою измену какой угодно жертвой... К чорту клятвы, но Сергею нужны командиры — и он доверился офицерам. Команда протестовала. Тогда он стал рядом с офицерами и приказал стрелять по пятерым... Офицеров помиловали. Сергей не ошибся. Они искупили свою измену примерной храбростью, а один из них прошел с Сергеем все фронты гражданской войны и сейчас работает в Реввоенсовете на ответственнейшей должности.

Другой случай произошел в бою. Броненоезд получил приказ — либо захватить в плен, либо отбить наступление немецкого броненоезда. На немецком стояли дальнобойные орудия и наш броненоезд не мог отступить до укрепленных позиций. Враг осыпал наши войска снарядами. Приказ привести в исполнение было почти невозможно, — немецкий броненоезд держал наш на таком расстоянии, с которого даже бесполезно было стрелять по нему. Командир броненоезда, офицер Монкин (один из тех, которые поклялись искупить измену) доложил команде,

— Батюшка... Пособи нашему горю... сгоремши мы. Всей деревней сгорели. Прими, кормилец, на работу!

что выполнить операцию невозможно. Он попросил Сергея обратиться лично к Фабрициусу. Команда отчасти сочувствовала Монкину, так как предприятие было действительно исключительно рискованным. Сергей знал об этом. Задание решало положение всего фронта. Штаб в данном случае надеялся на исключительную смелость команды бронепоезда. Он усилил ее десантом китайцев и приказал во что бы то ни стало начать операцию. Но Монкин заявил наконец, что, как командир, он отказывается посылать на совершенно явную смерть своих бойцов, и настаивал, чтобы Сергей лично поговорил с Фабрициусом. А Сергей лично от Фабрициуса и военкома западного фронта Семенова получил приказ. Они сами не скрывали трудности операции, но тут решалась судьба целой армии.

И Сергей пошел... Но он пошел только погулять, а не к Фабрициусу, так как знал уже доказательства Фабрициуса и знал, что не может быть никаких споров. Бронепоезд был один — и значит либо гибель целой армии, либо... А поддержка из России прибыть не могла. У Сергея не могло быть никаких сомнений, он пошел на фронт, чтобы защищать революцию, чтобы отдать свою жизнь, если надо, — а сейчас надо. Значит нечего рассуждать.

Он «погулял» несколько часов и вернулся. Речь была короткая:

— Приказ подтвержден, товарищи! Штаб вверяет нам судьбу своего фронта и своей армии. Ко со мной — три шага вперед!

Вперед отошли все — и первый из всех Монкин. В нем, очевидно, заговорило нечто вроде офицерской чести...

Бой должен был начаться с рассветом. Когда собрались в вагонах, Монкин вдруг с истери-

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ"

— Итак, дети, сегодня у нас елка.

ческим смехом попросил ребят спеть «Вы жертвою пали...»

— Ты опупел, командир?.. По ком это похоронная?

— Да хоть бы по мне, Сережа... — и, выхватив револьвер, командир выстрелил себе в сердце...

Разве может быть более паническое настроение, чем самоубийство в такой обстановке? Через секунду застрелился и другой офицер... Сергей не растерялся. Он приказал окружить оставшихся офицеров, тут же принял на себя командование бронепоездом и в назначенный час вышел в бой... Захватить немецкий бронепоезд не удалось, но удержать его от обстрела нашей пехоты в страшном и неравном единоборстве с ним — команда смогла. С развороченными площадками, избитый, искромсанный, бронепоезд № 31 выполнил свою задачу.

От семидесяти человек команды осталось двенадцать...

Из Латвии бронепоезд Сергея перебросили на поляков... Витебск, Орша, Борисов... Польские легионы запомнили этот бронепоезд. Помнят, как шесть человек отбили ночью — внезапным налетом — три орудия у поляков...

Это были Сергей, два офицера, один из которых сейчас в Реввоенсовете, и три бойца... Вскоре бронепоезд опять потребовался к Пскову для борьбы с латышскими белобандитами. А затем неожиданно вызов в Москву. Летели на двух паровозах и на двух же паровозах из Москвы были направлены на Врангеля...

По дороге на станции Миллерово командование южного фронта поручило Сергею отряд в триста сабель для борьбы с Махно, который мешал группированию наших частей, готовящихся к наступлению на Крым. Триста сабель ничего, конечно, поделать с Махно не могли, но это было триста ребят, отважных не менее, чем самые отважные махновцы, и задачу — оттянуть махновскую банду от полотна железных дорог, от частых нападений на эшелоны, отряд выполнил. Сергей сидел на коне с тифозной температурой, но итти в больницу и не думал. И, уснув во время одной засады, он попал в плен к Махно. Его не расстреляли только потому, что Махно в это время задумал перейти на нашу сторону. Но шомполы махновцев и сейчас еще лежат огромными, как две тарелки, рубцами на спине Сергея...

А потом Перекоп и тяжелое ранение. И снова через Москву на польский фронт... Через некоторое время из Витебска, где ремонтировался после схваток с поляками бронепоезд, Сергея вызвали в Питер и назначили в первый коммунистический сводный батальон. Шел он на кронштадтские форты... А там опять ранение, лечение, переброска в распоряжение штаба Кавказского фронта. На Кавказе начиналась меньшевистская авантюра, и там потребовалось усиление фронта коммунистами.

Сергею поручают формирование танкового отряда. Сформировав отряд, он направляется в Баку, Ганджу, Тифлис. Сабельное ранение в голову, малярия... Авантюра была ликвидирована, но зато из отряда в триста человек у Сергея осталось только двадцать два и он двадцать третий, — все больные малярией...

Горсточка бойцов была направлена на лечение в Москву, оттуда Сергея перевели в Питер. Пора было отдохнуть. Седые волосы в двадцать два года, пять-шесть ранений и контузий, малярия... Но Сергей — один из лучших, один из старых бойцов, не мог отдыхать, пока еще не все кончено. Финляндия решила воспользоваться нашей слабостью, нашей усталостью после четырех лет войны, — она попыталась захватить у нас Карелию. Командующий фронтом — Эйно Рахья. С Рахья Сергей начал гражданскую войну, с ним и закончил. Рахья дает назначение Сергею на карельский фронт. И Карелия отбита. На этом фронте Сергея ранили в последний раз.

Очень бегло рассказано здесь о великой эпопее гражданской войны. Очень скупо очерчен военком Егоров — один из самых славных юбиляров нашего комсомольского пятнадцатилетия.

Но я знаю, что писать о ней нельзя без любви, а значит и прочесть нельзя без любви эту краткую повесть о первом бойце Октябрьской революции.

Скаут принадлежит к братству, охватывающему весь мир, и уважает в каждом другом скауте товарища, не считаясь с его происхождением и вероисповеданием.

Из законов скаутов.

АНРИ БАРБЮС
Рис. А. Васильева

Я ОБВИНЯЮ!

Я обвиняю все французские правительства, сменявшие друг друга после войны, в том, что они дали приют, поддерживали, помогали, подстрекали, финансировали и вооружали всевозможные белогвардейские сообщества, представляющие собою международную организацию преступников, задавшихся целью убивать и подготовлять войну.

Я обвиняю эти правительства в том, что они несут ответственность за убийства, совершенные этими бандитами, многочисленные группы которых простирают свои щупальцы ко всему миру и свили себе гнездо во Франции.

Официальное признание, помощь деньгами и доставка оружия гнусным белогвардейским бандам Колчака, Юденича, Деникина и Врангеля — все это определенные факты, вписанные в историю послевоенного времени. Сотни миллионов были взяты у французских налогоплательщиков и переданы господами Клемансо и Мильераном этим головорезам, обрекшим огню и пожарам целые районы России.

Когда Врангель был выброшен из новой России, французское правительство приняло все меры для того, чтобы сохранить кадры его армии в соответствии с целями своей внутренней и внешней политики социальной реакции.

Организация этого активного центра социальной и политической реакции, поддерживаемая официальными властями, приняла размеры, которые трудно себе представить и которые поразили, правда, на время, палату депутатов, когда об этом говорили с парламентской трибуны в связи с делом Кутепова, а также французскую публику, видевшую три раза, а именно в сентябре 1930 года и в августе и ноябре 1931 года, как белогвардейские полки с оружием в руках официально маршировали мимо Триумфальной арки.

«Русский общевоинский союз», главный штаб которого, возглавляемый генералом Миллером, находится в Париже, объединяет около 15 крупных военных организаций и больше 140 казачьих групп. Эта крупная военная сила вербует изо дня в день солдат и юнкеров в рядах эмигрантской молодежи. Генерал Миллер в интервью, данном корреспонденту английского журнала «Рефери», признал, что создание подобной военной организации и снабжение ее всем необходимым стали возможными исключительно «благодаря дружелюбному отношению французских правительств». Дело идет не о каких-либо секретных сообщениях. Достаточно прочитать предисловие к справочнику «Русского общевоинского союза» для того, чтобы понять масштабы и боевой характер этого движения. Его цель — это война с Россией. Пока же он помогает в любой стране полиции бороться с пролетариатом.

Несколько месяцев тому назад генерал Миллер произвел смотр своих сил в Европе. В Польше, где он установил связь с начальником польского генерального штаба Пискором, генералу Миллеру были оказаны королевские почести. Такой же торжественный прием ему был оказан и на Балканах. В Бухаресте и во всех вассальных государствах Франции его встречали официальные представители власти и генералы. Он публично благодарил югославское правительство за оказанное ему содействие, и все эти расфуфыренные залотопогонники, одетые в пышные мундиры, открыто выступали на блестящих собраниях за создание под эгидой Франции единого фронта против СССР.

Генерал Миллер публично заявил:

«Мы готовы начать войну. Мы ждем подходящего момента в международном положении и финансовой помощи, которая нам будет оказана одной из держав, стремящейся к свержению большевиков».

В связи с последними событиями на Дальнем Востоке в Париже состоялось под председательством генерала Драгомирова собрание общества офицеров генерального штаба. Обсуждался вопрос о необходимости поддержать наступление Японии, и в связи с этим выступил с докладом член Думы Восторгов. Атаман донских казаков Богаевский выступил за создание антисоветского буферного государства, в состав которого вошли бы Манчжурия, Внутренняя и Внешняя Монголия. Это государство должно стать собственником Восточно-Китайской железной дороги, захваченной у СССР. По мнению Богаевского, «Общевоинский союз» мог бы поставить на ноги триста тысяч человек.

При министерстве Тардье связи между главными штабами и царскими эмигрантами еще

более укрепились благодаря деятельности генерала Секретьева, связанного с генералом Вейганом. Этот Секретьев играл непосредственную роль в военных заказах, переданных Японией заводам Панар-Левассер, Гочкис и Шнейдер, и он создал на всех оружейных заводах кадры штрейкбрехеров.

Есть большой город на юге Франции, — я беру лишь один пример из многих, — где целый ряд функций государственной власти передан исключительно белым. Являясь часть дня рабочими, они всегда имеют под рукой оружие и военную форму и готовы откликнуться на призыв своего начальства. Везде военные склады. Некоторые заводы наняли многих белогвардейских солдат, и эти временные рабочие лишают хлеба подлинных французских и иностранных трудящихся, ожидая сигнала, чтобы выступить против последних.

На заводах Шнейдера работает целый эскадрон врангелевцев — остатков 9-го Казанского драгунского полка.

В органе белых провокаторов «Часовой» можно читать призыв к военной организации белых рабочих на заводе Рив в департаменте Изер. Эти белые имеют свои школы, свои курсы военной подготовки, клубы, кооперативы. Они имеют военную академию, которая, по словам самого Миллера, не может удовлетворить всех желающих и где обучаются десять тысяч белых офицеров (эта цифра указана самим Миллером). На улицах Мадмуазель, Колизей, Мишле имеются особые военные курсы. Люди, мечтающие о том, чтобы в будущем расстреливать русский или французский народ, упражняются ежедневно в стрельбе на улице Д'Аламбер. В департаменте Сены и Уазы белые рабочие одного завода упражняются каждое воскресенье в стрельбе на стрелковом поле, принадлежащем французской армии. В Гренобле белогвардейцы имеют свои военные тиры, а в департаменте Приморских Альп у них есть даже свои радиостанции.

Но это наблюдается не только во Франции. После разгрома Врангеля сорок тысяч врангелевцев устроились в балканских странах, причем многие из них сохранили свою форму и продолжают свою службу. Я это видел собственными глазами. На улицах Белграда они гордо заявляют, что они здесь не только для того, чтобы воевать с Россией, но и для того, чтобы резать эту сволочь и не дать сербскому и болгарскому пролетариату добиться того, чего добился русский пролетариат в бывшей царской империи.

Другие центры имеются в Шанхае, Тяньцзине, Харбине, в Японии. Имеется уральско-амурский отдел с кадрами в Кобе, на Формозе и Хоккаидо.

Генерал Дитрихс, подчиненный Миллеру, обращается во Франко-китайский банк в Шанхае с ходатайством о деньгах. Генерал Смирновский и флотский офицер Дмитриевский работают во французских посольствах в Балтийских странах и помогают контрразведке.

В Финляндии сын генерала Бельгардта, в Эстонии — генерал Боев, в Латвии — флот-

ский офицер Подолкин руководят работой белогвардейских военных организаций.

В Нью-Йорке создано «Общество Петра Великого», возглавляемое Мартыновым, бывшим начальником московской охранки.

Не забудем, что белогвардейские военные организации имеются даже в Австралии и Южной Америке. Восемь тысяч белогвардейцев служат в иностранном легионе в Марокко и в Индо-Китае.

Великие державы никогда не хотели признать СССР, старающийся с 1917 года строить социализм. Идеалы этой шестой части земного шара, ранее наиболее отсталой и порабощенной, теперь же идущей во главе подлинного прогресса человечества и строящей равноправное пролетарское общество в борьбе за уничтожение классов, казались, и вполне справедливо, всему остальному миру чем-то роковым по отношению к основному принципу капитализма, основанного на эксплоатации человека человеком. Эта социальная и политическая враждебность не переставала проявляться в различных формах, которые выливались вначале в вооруженную интервенцию, в экономическую блокаду, в создание и усиление окраинных государств, обязанных своим возрождением или увеличением не каким-либо либеральным воззрениям, а соображениям международного полицейского характера.

С течением времени капиталистические страны однако поняли, что в их же интересах установление торговых сношений с СССР, и антисоветская кампания приняла другие, более потайные формы саботажа, шпионажа и клеветы.

Против пролетарского Интернационала, растущего во всем мире, выступили другие мировые организации — фашизм, белый или черный Интернационалы, полиция, которая может невозбранно вести кампанию и в мирное время, и все они действовали, получая широкую финансовую поддержку от капиталистов.

Но по мере того, как провозглашение человечных и логических принципов нового государства сопровождалось крупнейшими экономическими достижениями и непрерывным подъемом при одновременном трагическом упадке мирового капитализма, по мере того как одновременно с ликвидацией безработицы в СССР росла безработица в капиталистических странах, нанося последним все более и более глубокие раны, враждебность по отношению к СССР вновь приняла агрессивный характер.

Усиление клеветы, легенды о принудительном труде, демпинге, шутовские истории продажного журналиста Жео Лондона и пр. — все это не только выдумывается, но находится в полном противоречии с действительностью. Эта пропаганда, предпринятая в мировом масштабе и призванная подготовить общественное мнение к разрыву, наталкивалась до сих пор на несокрушимое стремление Советского Союза сохранить мир. Оказалось, что рабоче-крестьянское государство, страна «людей с ножами в зубах», является единственным в мире пацифистским государством.

Во-первых, благодаря своим принципам труда для всех, всеобщего сотрудничества, рационального распределения производственных усилий и продуктов труда, благодаря всему своему справедливому, ясному, безупречному механизму. Затем благодаря своим предложениям всеобщего разоружения, которое его представители не перестают защищать на международных конгрессах. Благодаря своим предложениям широкого экономического сотрудничества (проект экономического ненападения), благодаря своим договорам с соседними странами о мирном разрешении всех конфликтов. И наконец благодаря своей решимости не давать себя спровоцировать на выступления, которые могут создать положение, из которого трудно будет найти выход.

Эта пропаганда наталкивается также на отпор организованной части рабочего класса, все менее склонного маршировать против коммунистической России. Нужно поэтому пойти на хитрость, чтобы поставить одну страну за другой перед совершившимся фактом. Эта клика белых эмигрантов, отдающая приказы об убийстве виднейших лиц для того, чтобы вызвать войну, выполняет планы великих империалистических держав.

Я разоблачаю здесь эти гнусные соглашения, эту преступную поддержку для того, чтобы открыть глаза моим землякам, не отдающим себе отчета в положении. Я знаю, что ничего нового не сообщаю людям информированным, находящимся в курсе международной политики, и тем, кто эту политику делал.

Я обвиняю

Я повторяю, что все, что я сказал, основано на истине. Никто и ничто не сможет мне заткнуть рот. Если тюремщики и убийцы выступают против меня, то это лишь говорит о том, что я прав. Я беру на себя ответственность за то, что пишу и что обращено, с одной стороны — ко всем честным людям, а с другой стороны — *к установленным властям*. Но я знаю, что мой голос выражает мнение массы, распространенной по всему миру и сила которой растет с каждым днем.

Невиданный дым

ИГОРЬ РАВСКИЙ

Рисунки А. Беспэрстова

У старой часовни Жак останавливается и смотрит назад. За широкой толпой молодых всходов пшеницы он видит дом своего отца и дома соседей, и высокий колодец, и зеленые пятна садов. За домом его отца победно наступает солнце, которого Жак не видит.

От часовни тропинка, немного качнувшись направо, неудержимо скатывается вниз. Тогда Жак глубоко втягивает воздух и бросается догонять ее.

На пути его встают вытянутые и стройные телеграфные столбы. Между ними, в широком просторе, легла большая дорога. Жак должен пересечь ее.

Он бросает книги на землю и прижимается ухом к столбу. Столб гудит и вздрагивает. Через него со стоном проносится большая и звонкая жизнь. Она настойчиво проталкивается через ухо Жака и уходит вперед, не замечая его. А Жак все тесней и тесней прижимается к столбу. Он хочет прочесть ее, задержать...

В голове Жака громко шагает упрямый гул. Жак на минуту ослабляет объятия. И тогда он чувствует, что кто-то тянет его за рукав.

Как пойманный воришка, Жак торопливо хватает книги. Гул в голове рассеивается. Он видит перед собой оборванца. Лицо его заросло густой темнорыжей щетиной и правая нога оборванца еще наполовину в канаве.

— Кусочек хлеба, — говорит оборванец. Голос у него непроснувшийся и хриплый.

Жак по привычке засовывает руку за пояс. И от досады краснеет. Он забыл, что с прошлого понедельника он ходит в школу без завтрака. «Дорогой мальчик, — сказала ему мать в понедельник, — мне очень стыдно... но мы уже не так богаты, чтобы есть завтрак».

— У меня нет, — говорит Жак и снова краснеет. — Я забыл дома...

Тогда оборванец поднимается, и сквозь щетину на лице его проступает подобие жалкой улыбки.

— Я очень голоден, Жак. Если до твоего дома не очень далеко...

— Пойдем! — секунду подумав, решительно говорит Жак и забрасывает за плечо книги.

Он идет впереди. Он ставит ноги широко и уверенно, как взрослый. И, как взрослый, он озабоченно хмурится.

Конечно, в школу он опоздает, — это нехорошо. Но он должен помочь человеку. В конце концов школа — пустяк. В школу Жак ходит каждый день. А такие случаи бывают не часто. И разве учитель не говорил им о любви к ближнему?

— Вы поспеваете за мной, мосье? Я не очень быстро иду? — оборачиваясь, заботливо спрашивает Жак.

Оборванец улыбается. Внимание его привлекает часовня. Он заглядывает через разбитое стекло внутрь и говорит, что здесь он мог бы провести ночь гораздо удобнее, чем в дорожной канаве.

— Спать в часовне? — Это ужасный грех. Наш кюре не позволил бы вам, — говорит Жак. И вдруг вспоминает — «мы не так богаты».

На лбу у Жака выступают мелкие капельки пота. Он растерянно закручивает пряжку своего пояса. Он чувствует себя маленьким и несчастным. В ногах его уже нет уверенности. Ему неловко. Он должен сейчас же остановиться и сказать: — Мои родители, не так богаты, мосье...

Нет, он не сделает этого. Не может. Это еще хуже, еще стыднее.

У самой деревни Жак сворачивает на боковую тропинку и ведет оборванца кругом. Их маскируют заборы садов. Никто из соседей не замечает их.

Жак оставляет оборванца за сараем, а сам пробирается через сад. Окно еще не закрыли, в комнате никого нет. Жак старается открыть дверцу шкапа бесшумно. Он медленно тянет ее к себе. От напряжения он высовывает язык. Лихорадочно работают уши.

— Есть!

Но это только маленький черствый кусок от вчерашнего ужина. Этого очень мало. Жак на цыпочках крадется к леднику. Он уже поднимает крышку и... Рука его замирает. За его спиной кто-то тихонько дышит...

— Вы поспеваете за мной, мосье?

— Что ты делаешь, Жак?

В окне — голова матери.

Волнение стягивает его горло. Не выпуская из рук крышки ледника, Жак неловко топчется на одном месте. Он молчит.

Его выручает оборванец. Он выходит из-за сарая и останавливается в нескольких шагах от матери Жака.

— Я просил у вашего мальчика немного хлеба, — хрипло говорит он и низко опускает голову.

Жак напряженно замирает. Он ждет ответа. Если мать скажет сейчас обычное «мы не так богаты» — он умрет от стыда, он навсегда уйдет из этого дома.

В комнате и за окном становится очень тихо. На пасеке глухо гудят пчелы. Жак замечает, что мать колеблется, и срывающимся голосом говорит:

— Мама, я не буду сегодня обедать. Я вчера очень сытно наелся. У вас наверно останется...

Мать безуспешно борется с улыбкой. Она ворчит о том, что «нечестно просить у детей», и молча приглашает оборванца войти.

Жак садится в угол и раскрывает книжку. Под ее прикрытием он наблюдает.

С жадным хлюпаньем оборванец глотает мучную похлебку. И когда на дне миски остается уже совсем немного, он старательно облизывает губы после каждого глотка.

Потом с поля приходит сам Роман Боннер — отец Жака. Он долго стучит сапогами у порога, и Жак слышит, как он о чем-то шепчется с матерью. Отец садится обедать, угощает оборванца табаком и спрашивает резко, напрямик:

— Откуда? Зачем?

Тогда Жак узнает, что оборванца зовут Андре Пуансон. Он—из Дижона. Токарь. Работал на заводе сельскохозяйственных машин. У него есть сын, Люсьен, и еще две маленьких дочери — Жозина и Луиза. Он не знает — живы ли они. Он уже восемь месяцев без работы. Хозяин сократил производство наполовину. Андре Пуансон пришел в Боваль работать. 650 миль пешком. Он слышал, что хозяин местной парфюмерной фабрики нанимает рабочих. Пуансон готов переменить квалификацию.

— Да, наш Рамбо — молодчина, — говорит, медленно прожевывая, отец. — Кризис ему не страшен. Он борется с ним, как вепрь. Я часто завидую его рабочим. За последнее время мы очень осторожно обращаемся с хлебом. А они пьют хорошее вино и по воскресеньям приходят сюда дурачиться с девочками. Только если вздумаешь поехать в город—сразу расчет. Не любит...

Пуансон нетерпеливо перебивает. Он говорит, что в Дижоне давно забыли о такой жизни, и что его хозяин стал платить совсем гроши, и что если у Рамбо действительно все так, как говорит отец Жака, то он сейчас же напишет товарищам, потому что в Дижоне всем им грозит голодная смерть...

— Все от хозяина, — наставительно говорит отец, — все от хозяина. У такого, как наш, и рабочему жизнь — малина. Потому что дело умеет вести, умница...

Тут вмешивается мать Жака.

— И чего ты болтаешь, — кричит она, раздражаясь. — Что ж это у тебя хозяйство разваливается, а? Почему у тебя на рынке ни хлеба ни меда не покупают, а? Скоро самому на фабрику придется итти. У-умница!

— Наше дело крестьянское,— спокойно улыбается Боннер. — Мы от всякого пустяка зависим. А Рамбо — промышленник, он — деловой. Когда надо, он и схитрить может, и выждать, и цен настоящих дождаться...

Мать кричит, что все равно скоро все подохнут и что Рамбо тоже останется недолго. И вдруг она замечает Жака.

— А ты почему здесь? — обрушивается она. — Что за праздник такой? В школе разве сегодня не занимаются?

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ“

— Я не понимаю, почему у вас такие недовольные лица? Ведь в книжке ясно сказано, что труд, культура и свет должны быть идеалом каждого порядочного человека. Зачем нам кровь, дорогие мои друзья? С какой стати нам нужно брать винтовки и ходить по улицам, и петь неприличные песни?
Революция должна к нам притти сама тихо и мирно. Так сказано в этой „великой“ книге.

Люди, которые потрясли мир. Они шли...

Жак совершенно забыл про школу. Рот у него рассеянно открыт, и ему кажется, что он только что проснулся. Неохотно захлопывает он забытую на коленях книжку, выходит и останавливается за дверью, чтобы еще хоть минутку послушать.

— Ты не горячись, Сюзанна, — слышит Жак. — Ты только посмотри, как весело зеленеет пшеница...

В школе Жак осторожно пробрался на заднюю парту. Только что начался третий урок. Жаку показалось, что в классе немного душно. Он оторвал уголок тетради и крупным взволнованным почерком написал: «Луи! после уроков задержи ребят. Мы организуем Бовальский комитет помощи безработным».

Жак сложил записку в четыре раза, скрутил в комок и незаметно сунул под парту соседа. Учитель говорил о войнах Карла Великого...

Фабрика Рамбо разрасталась беспорядочно и торопливо. Каждое утро солнце встречало ее, как незнакомую. Каждое утро, как богатая женщина, она меняла свои одежды. Над головой ее вырастала гигантская труба. На деревушку нагло наступали шеренги новых сияющих цехов.

За Андре Пуансоном в Бовaль потянулись десятки и сотни рабочих. Они шли из Дижона, Безансона, Нанси и Шалона. Они приходили голодные, небритые и больные. Они тащили на себе детей, везли тележки с пожитками, разносили по домам вшей, просили хлеба и воровали на огородах помидоры. Они были — токари, электротехники, механики, каменщики, кондитеры, портные, кузнецы и арматурщики. И все они почтительно называли предприятие Рамбо «заводом» и готовы были на любую работу. И переселение их было похоже на бегство.

Рамбо нанимал рабочих. Но он любил солидные, ничем не запятнанные документы. Он требовал их.

Три чиновника в конторе завода тщательно осматривали прибывающих людей. Они щупали и выворачивали их, как товар сомнительного качества и подозрительной свежести. Паспорт служил для них этикеткой, билет социалистической партии — поручительством. Рамбо нанимал только «честных рабочих».

Новые корпуса наполнялись жизнью. Реконструкция завода заканчивалась. Длинные составы подвозили к Бовалю сырье. Гигантская труба коптила небо густым голубовато-серым дымом.

— Ну, теперь он всю Францию зальет одеколоном и сверху посыплет пудрой,—говорили бовальские обыватели. — Определенно, Рамбо метит в министры.

И только чудак Даше жаловался, что в его лавчонке совсем кончается запас одеколона.

Солнечные зайчики плясали на подоконнике. Жак открыл глаза и понял, что по телеграфным проводам он путешествовал только во сне, и увидел, что опоздал в школу.

Он сразу вскочил в свое комбине, на ходу застегнул пуговицы, сунул голову под кран, бросился связывать ремешком книги...

— Почему его не разбудили?

Жак запихнул в рот кусок хлеба и выбежал во двор. К дому крупными шагами шел с поля отец.

— Ты не пойдешь сегодня в школу, Жак, — сказал он.

Отец был без шапки, волосы его взлохмаченной гривой падали на глаза.

Случилось что-то необычайное.

Отец дал Жаку ведро и лейку, и Жак побежал в поле. Отец ехал за ним. Он вез пожарную кишку и большую бочку с водой.

Мать ползала в поле между рядами всходов и тщательно рассматривала корешки. Тогда Жак увидел, что повсюду молодые всходы пожелтели и скорчились. И по спине его пробежал тревожный холодок. И Жак крикнул.

— Что же это такое, мама?

Мать низко наклонилась к земле и украдкой размазывала по лицу слезы. Она не обернулась.

— Ничего не случилось, парень, — глухо сказал отец. — Просто дожди нехватает. — Он налил воды в ведро и лейку Жака и отвел ему небольшой участок для поливки.

Жак таскал лейку вдоль полосы и так же, как мать, рассматривал всходы. Отец предполагал, что в поле появился какой-нибудь вредитель-жучок.

К вечеру Жак собрал в большую коробку из-под печенья много жучков и гусениц. Были среди них золотисто-черные и зеленые, и голубоватые, и желтые, и лиловые, и полосатые, и пятнистые, и совсем белые. Был один огромный жук-носорог и бабочка с широкими пестрыми крыльями.

Отец внимательно осмотрел всю коллекцию и заявил, что это не то, и что насекомые тут ни при чем.

Колокол на старой часовне гудел раздраженно и хрипло.

Мужчины не выходили в поле. Над ними тяжело нависала странная дурманящая духота. Она напряженно томилась в садах и в узеньких улицах. Она медленно и угрожающе набухала вокруг.

Боваль не то праздновал, не то волновался.

Густая толпа двигалась к дому депутата Эжена Жиро. Двери дома были радушно раскрыты. Вылощенный привратник стоял у порога, покорно склонив голову на бок.

— Друзья!—ласково щурясь, говорил хозяин и, как дирижер, взмахивал руками, приглашая садиться в мягкие кресла. — Друзья! Я только вчера приехал из Парижа, чтобы отдохнуть среди своих избирателей. Я очень польщен вашим вниманием и оказанной мне торжественной встречей. Я даже не ожидал... Я тронут...

Граждане угрюмо молчали. Боннера подталкивали в спину и делали ему ободряющие знаки. Он неуклюже открывал рот, но все смотрели в его сторону, и ему было неловко говорить первым.

— Мосье Жиро! — крикнул кто-то. — С вами хочет говорить Боннер.

— Да, мосье Жиро,—глубоко вздохнув, сказал Боннер. — Вы знаете, что Рамбо выстроил новый завод...

— О, нет, — встрепенулся хозяин, — нет, просто там совершенно пустячная реконструкция.

— Пусть так, — сказал Боннер. — Я не знаю, что изготовляет на своем заводе мосье Рамбо. Я не смею вмешиваться в его дела, не так ли?

Жиро сочувственно кивал головой.

— Ближе к делу! — крикнул тот же голос.

Боннер заторопился.

— Я не осмелюсь ничего утверждать, мосье Жиро, но... вышло небольшое совпадение. Через несколько дней после того как начал работать... новый завод, — погибли наши посевы...

Толпа настороженно зашевелилась.

— Вы очень хорошо знаете, — продолжал Боннер, — что в нашей местности никогда не бывало саранчи. Мы искали других вредителей — и не нашли их. Дожди идут довольно исправно. И вот вчера мы обратили внимание, что воздух... воздух...

Все стали оглядываться, как бы ища глазами воздух. И все как-то сразу увидели, что окна в доме были плотно завешаны шторами.

В толпе пробежал невнятный шорох. Эжен Жиро торопливо встал.

— Дорогие друзья, — сказал он дрогнувшим голосом. — Гибель посевов — это ужасно. У меня невольно навертываются слезы, когда я только подумаю о таком бедствии. Но... — голос Жиро стал торжественней, — урожай в воле господней. Мы не имеем права роптать. Это кощунство, которого я не допущу в своем доме...

— Ближе к делу! — крикнул все тот же голос.

Внезапно изменив тон, Жиро быстро заговорил, глотая слова.

— Я так же, как вы, не знаю продукции уважаемого Эдмонда Рамбо. Но, что бы ни изготовлял он на своем заводе, он делает это для блага родины. А благо родины — это ваше благо, дорогие сограждане...

Толпа глухо заволновалась. Молодой Жорж Мишле выступил вперед.

— Давайте говорить откровенно, уважаемый депутат. Вы, конечно, обязаны помнить то, что вы обещали на выборах. Вы клятвенно уверяли, что социалистическая партия будет бороться за мир и разоружение. Вы говорили, что не пожалеете своей жизни для того, чтобы ваши избиратели могли спокойно трудиться. Теперь настало время доказать это делом. Действуйте, если можете. Или скажите нам прямо...

Жиро порывисто прижал руки в груди.

— Да, вы правы, — растроганно сказал он. — Мир и разоружение — это написано на нашем знамени. Мы гордимся этим. Но, мне кажется, это не имеет отношения к вашим посевам. Ведь мы о посевах говорили, не правда ли?— И, стараясь предупредить спор, Жиро обнял за плечи Боннера и его соседа и поспешно заговорил о том, что он готов сделать все возможное и даже невозможное для того, чтобы спасти урожай, и что, если нужно, он готов поехать не только к Рамбо, но даже к самому президенту, потому что интересы его избирателей для него—закон, если они не противоречат интересам родины.

Он говорил долго и на лице его сияло вдохновение, и в одном месте он даже вытащил носовой платок и один из стариков прослезился тоже, и когда все вышли во двор, то уже ничего не могли говорить и были, как пьяные,

— Граждане, — крикнул Жиро. — Вы, видите, что разговаривать больше нечего. Мы должны сами, с женами и детьми, пойти к фабрике.

— Мы заставим Рамбо прекратить свое варево, — крикнули из толпы.

— Комсомол все бунтует, — добродушно ворчал старый Вотрен.

Боязливо оглядываясь, граждане расходились.

Маленькая Бабетта сидела между горбатыми корнями липы и была совершенно одна. Она сосредоточено грызла кочерыжку и обрывала лепестки цветов, и мимо нее с мудрым жужжанием пролетали толстые шмели и на коленях ее лежал вверх ногами резиновый мальчик, который умел пищать.

Марта, мать Бабетты, работала рядом. Она медленно шагала через широкое поле, и в руках ее была лейка. Старшая дочь, Анна, неотступно везла за ней тачку с водой.

У конца полосы Марта потягивалась и устало смотрела вокруг.

Повсюду неприятно желтели больные всходы. Вода скатывалась на землю, связывала в живые комочки пыль и высыхала, и снова была пыль и надо было поливать с начала.

Позади, там, где кончалось поле, возвышалась гигантская труба. Там работал отец Бабетты и Анны. Нежнейший голубовато-серый дым медленно и лениво рассасывался в воздухе. Он рассасывался, но не пропадал, — Марта знала это. Она следила за ним глазами и чувствовала его душный, кисловатый запах, и беспокойно покачивала головой.

Когда Анна наливала бочку водой, Марта пошла посмотреть на Бабетту.

Бабетта не плакала. Она упрямо запихивала в нос большой желтый одуванчик и вся вымазалась пыльцей, и у нее был очень смешной вид.

— Нюхать, — говорила она, — хочу нюхать...

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ“

— На торцы Зимнего дворца. За власть Советов в Октябре 1917 г.

Марта нарвала ей гвоздики, и анютиных глазок, и незабудок. Бабетта смеялась и била в ладоши, и хотела нюхать все сразу.

Опять Марта шла через поле и тяжелая лейка колотила ее по колену. Анна везла за ней тачку и у конца полосы наполняла лейку водой.

Солнце висело высоко, а потом стало спускаться к полю, и тогда воздух стал совсем пустой и тяжелый. Марта сказала, что ей очень душно, и опять пошла посмотреть на Бабетту.

Она несла ей большую ящерицу с длинным смешным хвостом. Ящерица извивалась своим телом и старалась ухватить Марту за палец. Марта спряталась за широкую липу и кричала:

— Ау!

Никто не отвечал.

Тогда Марта побежала вперед. Ящерица выскользнула из ее рук и быстро нырнула под камень.

Бабетта лежала у ручейка, и тянулась к нему ручонками, и крепко сжимала резинового мальчика, который умел пищать, и была уже совсем холодная.

Жорж Мипле согнувшись бежал по бовальским улицам. На руках его качалось холодное тело Бабетты. Он кричал.

В улицах было пусто и тихо.

Жорж перегибался через заборы садов и кричал.

В садах было также пусто. Двери домов сторожили замки. Окна были одеты высокими сплошными ставнями. Весь Боваль ушел на поля.

Голос возвращался обратно звонким и одиноким.

Жорж прислонился к ступенькам лавчонки и глубоко вздохнул. Из-под крыльца выскочил испуганный цыпленок. Жорж думал о том, что если он пойдет к часовне и будет звонить в колокол и собирать весь народ, то Рамбо успеет уехать с завода и будет уже поздно.

Цыпленок бестолково прыгал по улице и пытался махать крыльями, которых у него еще не было. Из лавчонки выглянул хозяин, Даше, и равнодушно зевнул. Внезапно сорвавшись, Жорж побежал дальше.

Из школы высыпали крикливые толпы ребят.

— Школьники! — взволнованно закричал Жорж.

Все остановились.

— Школьники! Вот эта девочка умерла от газа, который варит на своем заводе убийца Рамбо. Хотите ли вы, чтоб так продолжалось дальше?

Его обступили и заглядывали вверх на Бабетту.

В группе школьников взорвались возмущенные крики Кто-то бросил книги на землю, кто-то вытащил из кармана нож, кто-то беспомощно тряс кулаками...

— Спо-койно! — властным голосом крикнул Жорж.

Ребята послушно затихли. Они уже признали его своим вождем.

Пестрая колонна школьников двинулась по дороге. Жорж насадил на палку красную рубаху Луи. Жак и Леон осторожно несли впереди тело Бабетты.

Мимо них проходили поля. За полями тянулась роща. И навстречу угрожающе надвигалась дымящая заводская труба.

Она вырастала, как мощный вулкан. Она обрушивалась...

Школьники пели.

На дороге остановилась старуха. Она старательно крестилась, искала глазами икону и сердито шевелила губами.

Труба надвигалась...

— Долой подготовку войны! — дрогнувшим голосом, кричит Жорж. — Долой убийцу Рамбо!

И школьники радостно подхватывают:

— Долой подготовку войны! Долой убийцу Рамбо! Долой!

Из ворот завода выходила первая смена. Рабочие останавливались группами и хмуро оглядывали демонстрацию.

— Пуансон! — вскрикнул вдруг Жак и бросился к воротам.

Андре Пуансон стоял у контрольной будки и тревожно оглядывался. Жак тронул его за рукав. Захлебываясь от возбуждения, он кричал:

— Рабочие должны присоединиться! Идите с нами, Пуансон, и зовите ваших товарищей. Мы заставим...

Пуансон больно стиснул его руку, оттащил Жака в сторону и строго сказал:

— Ты с ума сошел, Жак, замолчи сейчас же. А не то нас посадят обоих...

Жак возмущенно выдернул руку.

— Так вы трусите, Пуансон? Вы должны сейчас же бросить эту работу. Это нечестно...

Пуансон болезненно морщился. Заикаясь, он шептал в самое ухо Жака, что если он потеряет работу, то его детям придется умереть с голоду, и что Жак еще очень маленький и ничего не понимает...

Жак раздраженно махнул рукой. Он бежал догонять товарищей.

Он видел, что Жорж стоит на подоконнике и что-то кричит. Вокруг толпились рабочие. В верхних этажах конторы шумно распахивались окна.

Потом Жак увидел, что из конторы выскочил полицейский и какие-то люди, и что Жоржа уже нет на подоконнике и кто-то тащит его на двор, и в глазах у Жака запрыгали зеленые зайчики.

— Долой! — задыхаясь, кричал Жак и кулаками пробивался через толпу.

Сзади на его голову рухнуло что-то тяжелое...

Андре Пуансон никогда не думал о том, что носит он в тяжелых баллонах, от которых так больно ныли его плечи. Он не думал об этом и не пытался узнать.

— В конце концов не все ли равно?

Он много голодал и много голодала его семья, и он ходил по дорогам и видел много людей, которые не голодали, и он унижался перед ними и они презирали его, и ему было плохо.

А теперь?

Теперь он ел хлеб. Иногда сыр. И каждую неделю почтовый чиновник, не спрашивая, писал ему расписку на двадцать франков.

Теперь Андре Пуансон имел визу на жизнь.

И вот... все началось с того дня...

Вечером Андре Пуансон думал. И утром, проснувшись, он тоже думал. И потом, нагружая конвейер, Андре Пуансон смотрел на баллоны, и ему хотелось узнать...

В обеденный перерыв Пуансон незаметно вернулся в цех. Он немного ослабил головной винт баллона, приник носом, и...

Потом он долго сидел в уборной и его тошнило, и во рту был терпкий кисловатый привкус, и кто-то нетерпеливо стучал сапогом в дверь.

Теперь Пуансон очень осторожно снимал баллон с плеча. Он боялся поскользнуться, стукнуть... Он стал неловок.

Он плохо спал...

Видел цветы на обоях и, за окном, фонарь. Видел пустой потолок и шеренги окопов, и вонючие маски из марли, и шум в ушах, и страшное серое облако, и бегущих в панике крыс...

Он просыпался. Цветы на обоях и за окном... Серый, как облако дыма, рассвет.

И опять спал. И опять видел...

Утро приходило безрадостное и тусклое. Пуансон шел в цех и таскал баллоны и ставил их на конвейер, и думал...

Вот он сидит в начале конвейера, и у него кружится голова. Он видит баллоны... Много баллонов. Тонкие металлические стенки. А за ними, внутри... Вдруг цех наполняется дымом...

Баллоны открыты. Все баллоны завода Рамбо открыты. Вы слышите? — Открыты! Дым распирает окна, ползет через щели, вываливается в трубу. Он напирает... Сплошной мертвой стеной. Позади — нет ничего. Впереди — все обречено. И уже весь завод в дыму. Боваль, вся Франция полны дыма. Франция полна дыма!

— Несите на двор, — хмуро говорит мастер. — Воды. Если надо, фельдшера. Живо!

Пуансон жадно облизывает губы. Вода течет по лицу, капает за воротник, сбегает с волос.

Фельдшера?

— Не надо, — говорит Пуансон. — Просто не выспался. Пустяки.

Он, сконфуженный, возвращается в цех и снова таскает баллоны. Он видит, что товарищи украдкой перешептываются и молодой Пьер делает какие-то знаки.

После работы Пуансон долго стоит у ворот. Он рассеянно разглядывает сияющий, молочного цвета «Пакард» и не думает ни о чем.

— Я, ребята, со своей стороны должен заметить, что любовь—это чудесная штука. Но здесь есть „но“. Вот фронт, к примеру, лег вокруг нас. Смотрите, девчата, не подкачайте!

В стороне от ворот тянется цепь крытых платформ. Баллоны звякают и сталкиваются лбами. Идет лихорадочная погрузка. Нижнее окно конторы открыто, и за ним ходят неясные голоса.

Потом из конторы выходит... сам хозяин. С ним три офицера, один штатский. Незнакомые погоны, косые глаза, смех... Мирно мурлычат шпоры...

Офицеры входят в машину и сдержанно приподымают фуражки. Рамбо широко улыбается. Машина круто заворачивает и берет разгон. И только тогда Пуансон замечает желтый японский флажок. И ему становится немножко не по себе.

Медленно, не останавливаясь, и совершенно бездумно Пуансон поднимается на крыльцо,

нажимает блестящую ручку. Двери конторы открываются с легким скрипом.

— Да, полный расчет, — тихо говорит Пуансон, протягивая расчетную книжку... Но кто-то, вошедший за ним, осторожно кладет руку ему на плечо.

Жак издали заметил Андре Пуансона и пытался свернуть с дороги.

Пуансон окликнул его.

Он весело улыбался. На нем был зеленый галстух с крапинками. Он шел раскачиваясь и похлопывал тростью по сапогу.

— Почему ты смываешься, Жак? Разве мы с тобой — не приятели?

Жак отвернулся.

— Это было нечестно, мосье... Вот и все.

— Так ты все еще сердишься? Да ну? А я как раз шел и думал — хороший все-таки парень, этот Жак. Определенно стоит сделать ему самострел... Вот и резинка в кармане. Смотри!

Жак нерешительно переступил и хмуро посмотрел на резинку.

— Какой это самострел?

— Как, ты даже не знаешь? — закричал Пуансон.—Это же замечательная штука! Пойдем сейчас в рощу, и ты сам увидишь.

Ноги Жака облизывала роса. Пуансон срезал прут и уселся строгать. Прут был толстый, массивный, кора отливала бархатом. Где-то в чаще счастливо щебетали птицы. Вокруг никого не было.

— Ты хороший парень, Жак, — медленно сказал Пуансон. — Но из-за тебя я чуть было не сделал глупость...

Жак пересел ближе.

— Я хотел уйти с завода. Погоди... К счастью меня остановили...

— Хозяин?

— Нет. Такой же рабочий. Он тоже таскает баллоны. И под рубашкой он прячет значок, на котором написано «КИМ». Ты знаешь, что это значит?

— Так это же — Жорж!

— Неправда, это другой. Его зовут Пьер. Мы много говорили об этом... И я теперь знаю... — Пуансон примерил резинку и закурил. — Я теперь знаю, что это—не выход. Надо работать, Жак. А на заводе Рамбо можно не только таскать баллоны...

— А что же еще?

— Ты думаешь, — сказал Пуансон, — что на мое место не станет другой? Ты видел, сколько приходит сюда таких же голодных и нищих! Нет, надо сделать так, чтобы Рамбо не смел торжествовать. Надо, чтобы каждый рабочий завода понял, что он таскает в этих простых и гладких баллонах.

— А что? — затаив дыхание, прошептал Жак.

Пуансон отбросил дубинку и резко вскочил.

— Войну! — крикнул он в самое ухо Жаку. — Все должны узнать. И тогда мы выйдем утром, станем на свои места и скажем: мы не хотим больше откармливать японских хищников, мы не желаем готовить смерть для своих братьев и для себя, мы не допустим...

— Резинку порвали, мосье Пуансон! — крикнул Жак.

Пуансон покраснел, и стал связывать резинку узлом. Он принялся строгать и строгал молча и только губы его чуть шевелились.

— Готово. Дай-ка стрелу! Так. А теперь смотри! — Пуансон щелкнул резинкой.

Стрела сильно рванулась, пролетела со свистом, застряла в ветвях...

— Здорово! — крикнул Жак. Он взял самострел и прицелился.

Стрела, покачнувшись, упала к ногам

— Зацепилась!

— Вот видишь, — сказал он, подымая стрелу. — Надо учиться стрелять... Очень скоро это может тебе пригодиться.

— 1919 ГОД

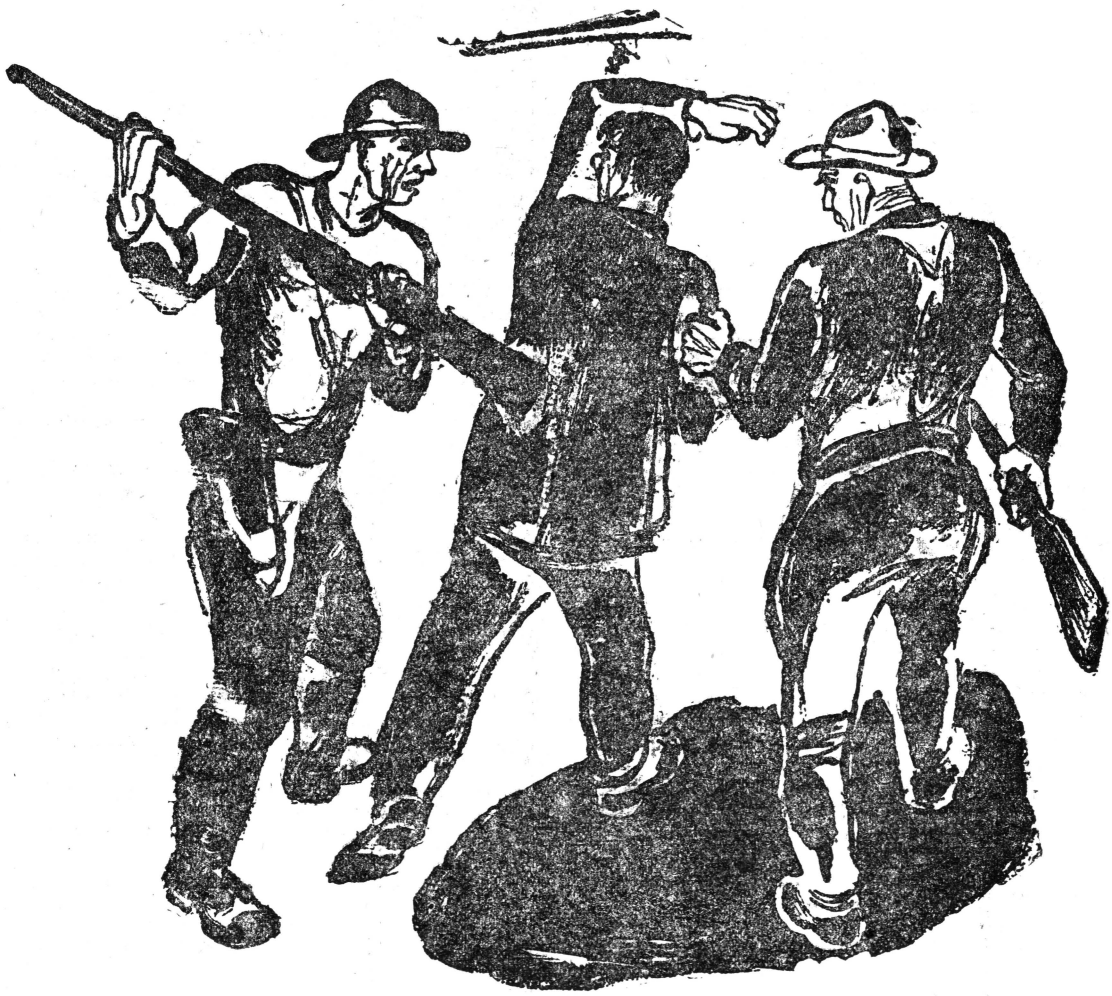
ДЖОН ДОС ПАССОС

Рисунки Б. Маркичева

Исполнилось пятнадцать лет вступления Соединенных штатов в мировую войну. Роман Джона Дос Пассоса „42-я параллель"—первая часть большой трилогии — заканчивается этим событием. Вторая часть трилогии — роман „1919 год", еще не переведенный на русский язык, — уже рассказывает о непосредственном участии Америки в войне. Вступление Америки в войну решил крупный банковский капитал, который к тому времени ссудил Антанте 12 миллиардов долларов. Крупный банковский капитал в лице Моргана диктовал волю правительству САСШ, в том числе и самому президенту Вильсону.

Сатира близкого революционному пролетариату писателя Джона Дос Пассоса беспощадно разоблачает Вильсона, который долгое время был „рыцарем справедливости и свободы" в глазах мелких буржуа и радикальных интеллигентов. Перед нами Вильсон — лицемер, ханжа, который сегодня произносит свои туманно-идеалистические речи, завтра поступает так, как хотят банкиры. Но Джон Дос Пассос разоблачает не одного Вильсона. Он обнажает истинную природу всего „демократического" аппарата управления Америкой, системы сбработки общественного мнения, насилия капиталистов над волей большинства.

Мы даем два отрывка из романа „1919 год". Один отрывок посвящен Вильсону; другой рассказывает о том, как мелкобуржуазный интеллигент вступает на путь революционной борьбы. Второй отрывок дан в сокращении.



...И его ударяли прикладом в спин

БЕН КОМПТОН

Когда Бенни был на втором семестре, учитель сказал ему, что у него косоглазие, и послал его с запиской домой. На другой день отец ушел из часовой мастерской, где он работал с лупой у глаза, и повел Бенни к окулисту, который впустил ему капли в глаза и заставил его читать маленькие буквы на белом листе картона. Отец казался тронутым, когда окулист сказал, что Бенни должен будет носить очки.

— Глаза часовщика... как у его отца, — сказал он и погладил его по щеке. Стальные очки тяжело сидели на носу Бенни и врезались ему в уши. Ему было смешно, когда отец говорил, что мальчик с очками на носу не будет игроком в бейзболл, как его сыновья Сэм и Иосиф, но посвятит себя наукам и станет адвокатом и ученым, как старик.

— Может быть он станет раввином,— сказал окулист.

Но отец сказал, что раввины—дармоеды, что хотя он и его старуха едят кошерное и справляют субботу, но что касается раввинов и синагоги... он только свистнул сквозь зубы.

Окулист засмеялся и сказал, что сам он свободномыслящий, но религия—хорошее дело для народных масс.

Когда они пришли домой, мать сказала, что «очки придали Бенни ужасно старый вид».—«Алло, четырехглазый,— прокричали Сэм и Иззи, когда они, продав газеты, вернулись домой. С тех пор как Бенни надел очки, он стал очень прилежен на уроках.

Когда ему было тринадцать лет, отец надолго заболел и должен был на год прервать работу. Они потеряли свой дом, за который было заплачено уже почти все, и должны были переселиться на Миртл-авеню. По вечерам Бенни работал у аптекаря, Сэм и Иззи ушли из дому. Сэм работал у меховщика, Иззи шлялся по игорным залам, и отец выкинул его за дверь. Мать плакала, а отец запретил детям упоминать его имя. Но они знали, что Глэдис, их старшая сестра, которая работала стенографисткой в Манхеттене, посылала Иззи по пяти долларов.

Бенни вырос очень высоким и худым, и у него бывали ужасные головные боли. Старшие говорили, что он перерос самого себя, и свели его к доктору Когену. Доктор сказал, что он должен прекратить ночную работу и не так усидчиво учиться. Ему надо было переменить обстановку и развить свое тело. Ему надо было есть молочную пищу и свежие яйца, поехать куда-нибудь в солнечную местность и там, отдыхая, провести все лето. За совет он взял доллар.

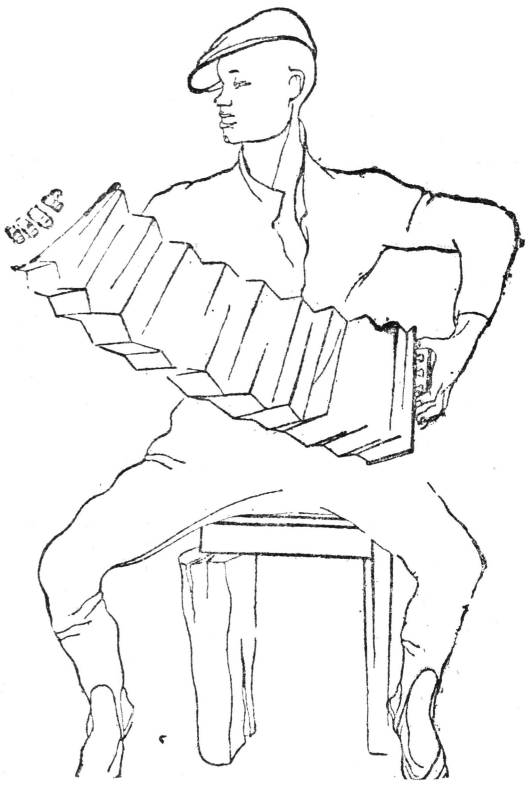
Идя домой, старик тер рукой лоб и говорил, что это была ошибка, что он тридцать лет работал в Америке, а теперь он старый, слабый, изношенный человек и не может позаботиться о своих детях.

Мать плакала. Глэдис просила их не глупить. Она сказала, что Бенни — умный парень и дельный студент, и какой смысл от всего этого ученья, если он когда-нибудь не получит службу в деревенской местности. Бенни лег спать, ничего не сказав.

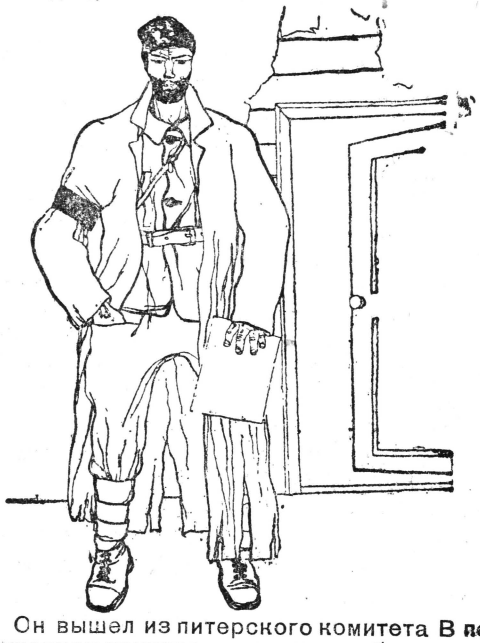
Через несколько дней Иззи вернулся домой. Он громко позвонил, потому что знал, что отца нет дома. На Иззи был серый костюм, зеленый галстук и фетровая шляпа. Он сказал, что он стал боксером и едет в Ланкастер, штат Пенсильвания, драться с тяжеловесом Филипино.

— Возьми меня с собой, — сказал Бенни.

Когда они приехали в Ланкастер, Бенни падал от усталости. Он заснул в одной из комнат клуба атлетики и проснулся, когда схватка уже окончилась.



Вырос на окраине гармонист Астахов. Его незамысловатые песни, сочиненные о первых днях революции, пела рабочая молодежь Московской заставы.



Он вышел из питерского комитета В полученном приказе человек этот был назначен комиссаром отряда молодежи. На Петроград наступал Юденич.

Иззи побил тяжеловеса Филипино в третьем раунде и выиграл премию в двадцать пять долларов.

Он отослал Бенни в гостиницу, а сам с кампанией парней пошел повеселиться. Наутро он вернулся с позеленевшим лицом и залитыми кровью глазами; он истратил все деньги, но нашел для Бенни работу в лавке при одной постройке.

Это была разъездная работа. Бен оставался на ней два месяца, зарабатывая по десять долларов в неделю и питание. Он выучился править тележкой и вести книги. Хозяин лавки, Хирам Вом, обсчитывал рабочих постройки. Но Бенни не обращал на это внимания, пока он не подружился с Ником Джильи, который работал с партией на укладке щебня. После закрытия лавочки они курили и разговаривали. По воскресеньям они уходили в деревню с воскресными газетами и после полудня лежали на солнце и обменивались мнениями о разных статьях.

Ник был родом из северной Италии, а рабочие в его партии все были сицилианцы, и он чувствовал себя одиноким. Его отец и старшие братья были анархисты, и он также был анархист; он рассказывал Бенни про Бакунина и Малатесту и стыдил Бенни за то, что он хотел быть богатым дельцом; конечно, он должен был учиться и стать адвокатом, но он должен был работать для революции и рабочего класса, а быть дельцом — значило стать таким же грабителем и мошенником, как эта собака Вом.

Однажды вечером, когда Бен был в том бараке, где помещалась лавка, пришел Ник. Он шепнул ему на ухо, что хозяева обсчитали рабочих и что завтра начнется забастовка. Бен сказал, что он будет с ними. Ник сказал ему по-итальянски, что он славный товарищ, и расцеловал в обе щеки.

На другое утро, когда раздался гудок, только немногие землекопы вышли на работу. Бен топтался у двери барака, не зная, что ему делать с самим собой. Вом увидел его и велел ему запрячь повозку, чтобы ехать на станцию за ящиком табаку. Бен, смотря в землю, сказал, что он не может этого сделать потому, что он примкнул к забастовке. Вом разразился хохотом и посоветовал ему бросить это ребячество. Потом он побелел от бешенства, подошел вплотную к Бену, поднес кулак к самому его носу и сказал, что его брат задаст ему трепку, когда услышит об этом.

Бен пошел в свою каморку, связал вещи и отправился искать Ника. Ник стоял немного в стороне от дороги, где находились бараки, посреди кричавших, размахивавших руками рабочих. Надзиратели стояли тут же с револьверами в черных кобурах поверх их курток. Один из них держал речь по-английски, другой — на сицилианском наречии.

Они говорили, что с рабочими здесь всегда обращались честно, а если им такое обращение не нравится, то они могут убираться к чорту. В это дело вложены большие деньги, и компания вовсе не расположена смотреть, как разные проклятые глупости становятся ей поперек пути. Каждый, кто сейчас же после гудка не станет на работу, будет выгнан и пусть запомнит, что в штате Пенсильвания имеется закон против бродяжничества.

Как только раздался гудок, все, за исключением Бена и Ника, пошли на работу. Бен и Ник двинулись по дороге со своими узлами. У Ника были слезы на глазах, и он говорил: «Слишком сдержаны, слишком терпеливы они... Мы еще сами не сознаем своей силы».

Бену была ненавистна мысль расстаться с Ником, но он должен был вернуться домой искать на зиму работу, которая дала бы ему возможность учиться. Он выдержал экзамены и зарегистрировался в Нью-Йоркском университете. Отец занял у своего хозяина сто долларов для того, чтобы дать ему возможность приступить к занятиям, а Сэм прислал двадцать пять долларов на книги.

По воскресеньям после обеда он ходил в библиотеку читать «Капитал». Он записался в социалистическую партию.

На одном из рабочих собраний Бен встретился с девушкой, которая раньше работала на текстильной фабрике в Джерсее. Во время большой стачки она была арестована и занесена в черный список. Ее звали Элен Мауэр, она была на пять лет старше Бена. Она утверждала, что в социалистической партии нет ничего дельного, что правда на стороне синдикалистов. После со-

...Надзиратели стояли тут же.

брания они пошли вместе в кафэ, где она его познакомила с людьми, про которых она говорила, что это—настоящие бунтари. Когда Бен рассказал о них Глэдис и родителям, старик сказал: «Фу... радикальные евреи» и издал насмешливый звук. Он добавил, что Бен должен быть подальше от этих обез-

яноподобных и должен работать. Он, отец, уже был стар и весь в долгах, и если он совсем ослабеет, то Бенни должен будет поддерживать его и старую мать.

Бен сказал, что, конечно, он будет работать все время, но родители не принимают во внимание, что он прежде всего работает для рабочего класса. Старик сделался красным и сказал, что дорога прежде всего его семья, а потом его народ. Мать и Глэдис плакали.

Старик поднялся на ноги. Шатаясь и кашляя, он простер руки над головой Бена и проклял его. Бен ушел из дому.

У него не было ни гроша, и он еще был слаб после недавней болезни. Он пошел через Бруклин и через Манхеттен к восточной стороне города, на ту улицу, где жила Элен.

Хозяйка квартиры не пускала его в комнату Элен. Элен сказала, что это не ее дело. Пока они спорили, у него зазвенело в ушах и он без чувств упал на пол гостиной. Он очнулся от воды, которую Элен лила ему на голову.

Через несколько дней они переехали в Джерсей. Бен получил службу на текстильной фабрике. Во время забастовки они оба были в стачечном комитете. Бен стал пропагандистом. Его несколько раз арестовывали и полицейские едва не проломили ему череп дубинкой. Кроме того он получил шесть месяцев тюрьмы.

В суде он пытался говорить о прибавочной стоимости. Забастовщики, сидевшие в зале, громко одобряли его слова, и судья велел надзирателям очистить зал от публики. Бен видел, что репортеры внимательно записывают его слова, он был рад, что стал живым примером несправедливости и жестокости капиталистической системы. Судья прервал его, сказав, что он прибавит ему еще шесть месяцев за оскорбление суда, если он не утихнет, и Бена отвезли в тюрьму в автомобиле, наполненном специальными агентами с ружьями. В газетах писали о нем, как о хорошо известном агитаторе социалистов.

В тюрьме Бен подружился с уоббли, которого звали Брам Хикс, высоким юношей из Сан-Франциско. Брам Хикс сказал ему, что если он хочет узнать рабочее движение, он должен поехать на тихоокеанское побережье.

Они оба были выпущены в один день. Они вместе шли по улицам. Стачка окончилась. Фабрики работали. Улицы, где раньше стояли пикеты, зал, где Бен говорил речи, казались теперь спокойными и обыкновенными.

Спустя несколько дней Бен уехал с Брамом на Запад. Пешком, в багажных вагонах, в пустых барках, на товарных платформах они добрались до Буффало. Там Брам нашел знакомого парня, который устроил их подручными на китобойное судно, которое шло в Делес. В Делесе они присоединились к партии, которая шла на уборку пшеницы в Сескечеуоне. Сначала работа была тяжелой для Бена, и Брам боялся, что он свалится. Но четырнадцать дней в солнце и тумане, обильная пища, мертвый сон на сеновалах укрепили его.

После уборки урожая они работали на фабрике по обработке фруктов. Они прочли в газете о стачке ткачей и их борьбе за свободу собраний в Эверетте и решили отправиться туда посмотреть, чем они могут им помочь.

Они доехали на пароходе до Ситля. Комитет ИРМ[1] находился в помещении, похожем на домик для пикника. Он был полон молодыми людьми, прибывшими со всех концов Соединенных штатов и Канады. Через несколько дней большая партия отправилась на лодке в Эверетт организовывать там митинг. Пристань Эверетта оказалась полной агентов, вооруженных винтовками и револьверами.

— Они поджидают нас, — нервно сказал один из парней. — Там шериф Мак-Рей.

— Будем держаться вместе, — сказал Брам Бену, — постараемся смешаться с толпой.

Уоббли были арестованы, как только сошли на берег, и отвезены в конец пристани. Почти все агенты были пьяны. Бен чувствовал водочное дыхание краснолицего парня, который рванул его за руку:

— Ну-ка, двигайся ты, сукин сын! — и его ударили прикладом в спину. Он слышал удары, сыпавшиеся на головы

[1] «Индустриальные рабочие мира»—рабочая организация, в то время революционная.

— Рабочий класс Америки запомнит этот урок.

— Послушайте, шериф, — сказал кто-то из уоббли, — мы пришли сюда не для того, чтобы производить беспорядки. Все, чего мы хотим — это наше конституционное право свободы собраний.

Шериф двинулся к уоббли, размахивая револьвером:

— Хотите ли вы... — он непристойно выругался. — Здесь графство Снохэм, не забывайте этого... если вы еще раз явитесь сюда, то кто-нибудь из вас окончит здесь свои дни... Вот и все! Ладно, идем, ребята, — обратился он к агентам.

Агенты построились в два ряда и двинулись по направлению к железной

его товарищей. Каждому, кто сопротивлялся, разбивали прикладом лицо. Агенты заставили уоббли взобраться на платформу. Наступили сумерки и заморосил холодный дождь.

В лесу, где шоссе пересекало железную дорогу, их заставили сойти с платформы. Агенты стояли вокруг них с ружьями на-изготовку, в то время как шериф был пьян так, что пошатывался, и двое хорошо одетых людей среднего возраста о чем-то сговаривались.

дороге. Каждый хватал уоббли и избивал его. Трое агентов схватили Бена.

— Вы уоббли?

— Да, я уоббли, а вы грязные...—начал он.

Шериф подскочил к нему и размахнулся, чтобы ударить.

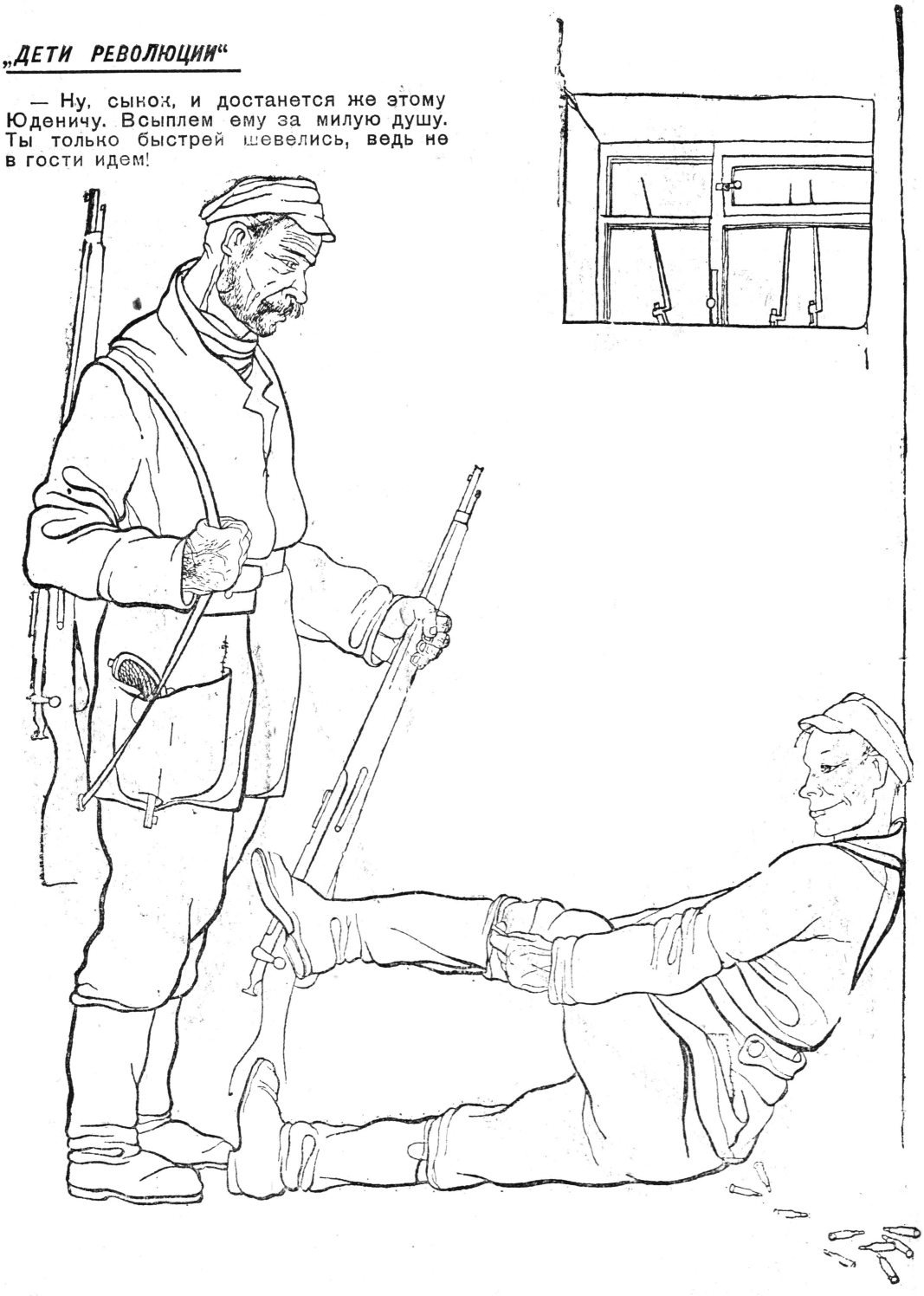
— Постойте, на нем очки.

Чья-то рука стащила с лица Бена очки.

— Запомним это...

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ“

— Ну, сынок, и достанется же этому Юденичу. Всыплем ему за милую душу. Ты только быстрей шевелись, ведь не в гости идем!



И шериф ударил Бена кулаком по носу.

— Скажи, что ты не уоббли.

Лицо Бена покрылось кровью. Он схватился за челюсть.

— Он кик[1]... Дай ему еще разок за меня.

---

[1] Презрительная кличка для не-американцев.

Мать провожает своего единственного сына на защиту Петрограда.

Кто-то ударил его в голень, и он упал вперед.

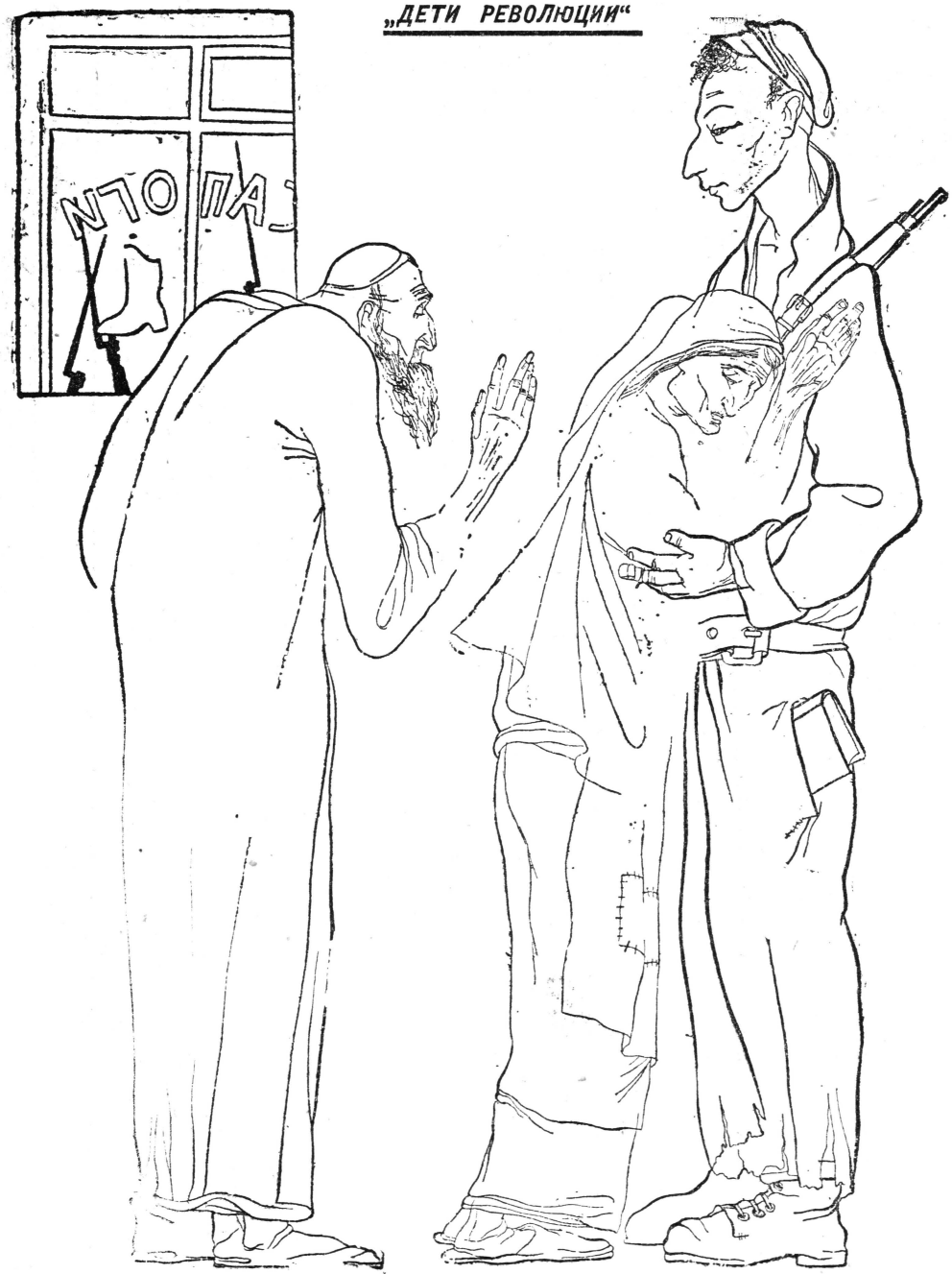
— А теперь беги, — гоготали сзади.

Удары прикладом и рукоятками револьверов оглушили его.

Он пытался продвигаться вперед не лежа. Он набрел на рельсы и упал, обколов руки обо что-то острое. Его глаза были залиты кровью, и он ничего не различал. Чей-то тяжелый сапог раз за разом ударял его в бок. Силы покидали его. Он кое-как продвинулся вперед. Кто-то держал его под руки, кто-то вытирал ему платком лицо. Он слышал откуда-то издалека голос Брама.

— Мы перешли границу графства, ребята.

От того ли, что он потерял очки, или из-за ночи и дождя, или из-за ломящей боли во всем теле, но Бенни ничего не



— Иссиф, мы всю жизнь делаем сапоги. Зачем тебе война, Иосиф, зачем пули и эта пушка за твоей спиной? Я знаю, что тебя не переспорить, но я говорю, Иосиф, что пули есть пули и ты берегись их.

видел. Он только слышал выстрелы и гогот позади, откуда бежали другие парни.

— Товарищи, — сказал Брам густым спокойным голосом. — Мы никогда не должны забыть эту ночь.

На промежуточной станции он произвел среди этой избитой окровавленной толпы сбор для того, чтобы купить билеты до Ситля наиболее изувеченным. Бен был так слаб и измучен, что едва мог держать билет, который кто-то

— Ну что ж, иди, защищай ев-ре-ев. Только по дороге прикрой окно, — я немогу выносить эти ужасные песни твоих товарищей. Кстати, ты можешь не возвращаться в этот дом.

всунул ему в руку. Брам и другие уоббли пошли пешком в Ситль, который находился в тридцати милях от этой станции.

Бен пролежал в больнице три недели, удары повредили ему почки, и он все время чувствовал страшную боль. К тому времени, когда его выписали, он только что начал ходить. Все, кого он знал, были в тюрьме. В почтамте

он нашел письмо от Глэдис с пятью-десятью долларами. Глэдис писала, что отец хочет, чтобы он вернулся домой.

Комитет защиты предложил ему уехать из Ситля. Он был подходящим человеком для того, чтобы собирать для них деньги на Востоке. Комитету была нужна большая сумма для того, чтобы защитить семьдесят четырех уоббли, которые сидели в тюрьме Эверетта по обвинению в убийстве. Бен оставался в Ситле еще две недели, выполняя разные поручения комитета и ища способа добраться до дому. Один из сочувствовавших, работавший в мореходной конторе, устроил его в качестве заведующего погрузкой товаров на пароходе, который отправлялся в Нью-Йорк через Панамский канал.

Бен прожил дома всю зиму, потому что так было дешевле. Когда он сказал отцу, что будет изучать право в конторе радикального адвоката Морриса Штейна, с которым он познакомился, собирая деньги для узников Эверетта, старик был в восторге.

— Умный адвокат, — сказал он, — может защищать рабочих и бедных евреев и в то же время зарабатывать деньгу. Я всегда знал, Бенни, что ты хороший мальчик.

Мать кивала головой и улыбалась. Бен устал от разговоров с ними. Он работал клерком в конторе Штейна на Бродвее, а по вечерам выступал на митингах протеста по поводу избиения в Эверетте. Сестра Штейна — Фаня, худощавая, смуглая, богатая женщина, лет тридцати пяти, была пламенной пацифисткой и заставляла его читать Толстого и Кропоткина. Она верила, что Вильсон охранит страну от войны, и посылала деньги всем женским пацифистским организациям. У нее был автомобиль, на котором она разъезжала по митингам.

У него всегда билось сердце, когда он входил в зал митинга и слышал сдержанный говор людей, которые наполняли зал. Тут были рабочие швейных фабрик из восточной части города, портовики из Бруклина, рабочие с химических заводов и металлисты.

Когда он начинал говорить, все лица казались ему одной сплошной массой. Потом он слышал свой голос, твердо и отчетливо произносивший первые слова, и он видел, как люди наклонялись вперед, и он ясно различал лица и тех, кто, не найдя места, толпился у двери. Слова — «протест, массовое действие, объединенный рабочий класс страны и всего мира, революция», зажигали яркие огни в глазах тех, кто слушал его. После речи он всегда чувствовал себя ослабевшим, его очки так потели, что он должен был протирать их.

Когда в апреле Вудро Вильсон объявил войну, Фаня Штейн, истерически разрыдавшись, слегла в кровать. Навестив ее, Бен сказал:

— А чего же вы ожидали? Конечно, капиталисты хотят войны. Они будут думать иначе только тогда, когда увидят, что на них надвигается революция.

Уходя, он сказал сам себе, что никогда больше не придет к ней.

Скоро он поссорился со Штейном. Штейн сказал, что остается только склониться перед бурей. Бен сказал, что он будет агитировать против войны, пока его не посадят в тюрьму. Он лишился работы, и значит прекратилось изучение права. Аптекарь, у которого он раньше работал, отказался снова взять его к себе, он боялся, что его лавку разгромят, если узнают, что у него работает противник войны. Брат Бена работал на военной фабрике и зарабатывал большие деньги. Он написал Бену, чтобы тот бросил свое дурачество и поступил туда же на работу. Даже Глэдис сказала ему, что глупо пробивать головой стену.

В июле он вернулся в Пассаик к Элен Мауэр. Он там получил работу на текстильной фабрике. Родители Элен и их друзья зарабатывали большие деньги, работая сверхурочно; они смеялись или сердились, когда кто-нибудь говорил о забастовках протеста, о революционном движении. Он и Элен начали думать о том, чтобы переехать в Чикаго, где уоббли начинали войну. В сентябре активисты ИРМ были арестованы полицией. Бен и Элен ожидали, что они также будут арестованы, но их не взяли.

Через несколько дней Бену предложили подписаться на военный заем. Бен, не тратя лишних слов, только отрицательно покачал головой.

— Я думаю, вы не хотите заставить людей думать, что вы сочувствуете немцам или что вы пацифист? — сказал

молодой человек, уговаривавший его подписаться на заем.

— Пусть они думают, что хотят. Это касается меня одного.

— Покажите вашу военную карточку. Держу пари, что вы укрывающийся.

— Тогда слушайте, — Бен поднялся на ноги, — я не сочувствую капиталистической войне и поэтому ничего не делаю для того, чтобы поддержать ее.

Молодой человек повернулся к нему спиной.

— Если вы из этих ублюдков, — сказал он, — то я не хочу и говорить с вами.

Через неделю Бен был рассчитан. О причине ему не сказали.

Он вернулся домой в тревоге. Он объявил Элен, что поедет в Мексику: «Они меня объявят шпионом за то, что я говорил о войне капиталистов». Элен пыталась его успокоить, но он сказал, что и ночевать не будет в этой комнате. Они уложили вещи и уехали в Нью-Йорк. Они сняли комнату в восточной части города под именем мужа и жены Гольдов.

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ"

Защищать Петроград уходили целыми семьями.

На следующее утро они, сидя в кафэ, прочли в газетах, что в Петрограде большевики захватили власть, выдвинув лозунг: «Вся власть советам».

— Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! — закричала Элен. — Ведь это же мировая революция!

Проглотив кофе, они пошли к доктору Ферьеру. Это был маленький, плотный человек с большим животом. Они его встретили выходящим из дому. Он вернулся с ними и позвал жену.

— Молли, сойди вниз... Керенский в панике бежал из Петрограда, переодетый женщиной.

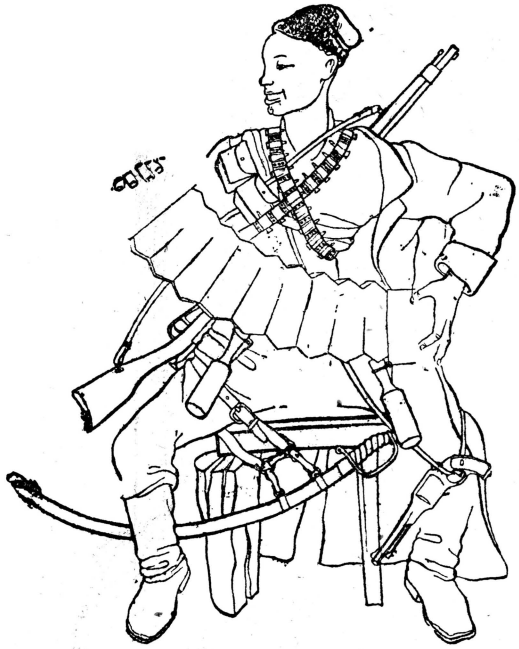
Он сказал Бену по-еврейски, что если товарищи соберут митинг для того, чтобы послать привет рабоче-крестьянскому правительству, он даст сто долларов на расходы, но пусть его имя держат в тайне, иначе он потеряет практику.

Митинг состоялся через неделю. Два полицейских агента, с лицами, похожими на бифштексы, сидели на передней скамейке. С ними сидел стенограф, который записывал каждое слово. Полиция закрыла двери, как только в зал вошло человек двести. Ораторы могли слышать, как снаружи полицейские разгоняют толпу.

Когда высокий седой человек, который председательствовал на митинге, поднялся и сказал:

— Товарищи, а также джентльмены из министерства юстиции, мы собрались сюда для того, чтобы послать привет от угнетенных рабочих Америки победившему пролетариату России, — то все встали и начали аплодировать.

Аплодировала и толпа, которая стояла снаружи. Было слышно, как снаружи поют «Интернационал». Были слышны свистки полицейских и шум полицейского автомобиля.



Защищать Петроград от Юденича пошел и гармонист Астахов. По вечерам он неутомимо пел частушки и играл на своей гармонии мягкие старинные вальсы.

Когда пришла очередь говорить Бену, он сказал, что по причине милого сочувствия, которое проявило правительство к митингу, он лишен возможности сказать все, что он хочет. Но все сидящие в зале мужчины и женщины, все, кто не предает свой класс, знают, что он хотел сказать.

— Правительства капиталистов сами роют себе могилу, толкая народ в безумную бесполезную войну, из которой никто не извлечет прибыли, за исключением банкиров и владельцев военных фабрик... Рабочий класс Америки, так же как и рабочие всего мира, запомнят этот урок. Предприниматели дают нам уроки обращения с оружием: придет день, когда мы этим воспользуемся.

Митинг был прекращен. Бен и двое других товарищей были арестованы. Бена втолкнули в темный лимузин, и он даже не заметил, как на него одели наручники.

Три дня ему не давали ни воды ни пищи. Каждые несколько часов группа сыщиков входила в его камеру для того, чтобы допросить его. Потом его отвели в канцелярию, где пожилой человек почти вежливо допрашивал его. Окончив допрос, он сказал, что он может повидаться со своим адвокатом, и в комнату вошел Моррис Штейн.

— Бенни, — сказал он, — предоставьте все мне... Мистер Уоткин согласен снять с вас все обвинения, если вы обещаете записаться в солдаты. Похоже на то, что ваш возраст скоро призовут.

— Если вы меня отпустите, — сказал Бен низким дрожащим голосом, — я употреблю все мои усилия для того, чтобы бороться с капитализмом, пока вы меня снова не арестуете.

Моррис Штейн и мистер Уоткинс посмотрели друг на друга и снисходительно закачали головой. Дело кончилось тем, что он был выпущен под залог в пятнадцать тысяч долларов и поручительство Морриса Штейна, что он не будет агитировать до суда. Штейн не захотел ему сказать, кто внес залог.

В тот день, когда его судили, в газетах появились сообщения, намекавшие на победу немцев. На вопрос о виновности присяжные ответили: «виновен», и судья присудил его к двадцати годам тюрьмы. Моррис Штейн подал жалобу, и судья оставил Бена на свободе под залог.

Разбор жалобы затянулся. Он снова тем временем изучал право.

После перемирия пришли новости о подъеме революционного движения по всей Европе. Красная армия гнала белых.

Через несколько дней Моррис Штейн явился бледный.

— Бен, — сказал он, — мы побиты... Вы должны на некоторое время сесть в тюрьму... но не беспокойтесь. Мы доведем ваше дело до президента.

Агент, который отводил его в тюрьму, был угрюмый человек с синими мешками под глазами. Наручники резали руки Бена, агент снял их, но каждый раз, когда поезд стоял на станции, он снова их надевал.

Бен вспомнил, что сегодня—его день рождения. Ему исполнилось двадцать три года.

мистер ВИЛЬСОН

ДЖОН ДОС ПАССОС

Рисунки А. Васильева

В тот год, когда Бьюкенен[1] был избран президентом, Томас Вудро Вильсон родился у дочери пресвитерианского священника в долине Вирджинии, в церковном доме в Стаунтоне; это был старый шотландско-ирландский род: его отец также был пресвитерианским священником и учителем красноречия в богословской школе.

Доктор Вильсон был твердым человеком, любившим свой дом, своих детей и хорошие книги, и свою жену и правильный синтаксис, и каждый день на семейных молениях беседовал с богом.

Он воспитывал своих сыновей между библией и словарем в годы гражданской войны, в годы флейт, барабанов, перестрелок и воззваний.

Вильсоны жили в городе Аугуста, штат Георгия. Томас был отсталым ребенком и не знал грамоты до девяти лет, но, когда он выучился читать, его любимым чтением была книга Парсона Вимса «Жизнь Вашингтона».[2]

В 1870 году доктор Вильсон был назначен в богословскую семинарию в Колумбии, штат Южная Каролина. Томми поступил в колледж Давидсона, где у него развился хороший тенор. Потом он поступил в Принстон,[3] выступал как оратор и был редактором университетского журнала. Его первая статья в большом литературном журнале была хвалой Бисмарку.[4]

Потом он изучал право в университете Вирджинии. Молодой Вильсон хотел быть великим человеком, как Гладстон[1] и английские парламентарии восемнадцатого века. Во имя истины он хотел посвятить себя судебным разбирательствам, но судебная практика была для него неприятна: он лучше чувствовал себя в книжной атмосфере библиотек, лекционных зал, школьной церкви. Для него было облегчением покинуть судебную практику в Атланте и стать младшим профессором истории в колледже имени Джона Хопкинса; там он написал книгу «Парламентское правительство».

Двадцати девяти лет он женился на девушке, у которой была склонность к живописи (ухаживая за ней, он ее учил, как произносить открытое «а»), и получил место в городе Брин-Маур, штат Филадельфия, где учил девушек истории и политической экономии.

Когда он получил степень доктора филологии в университете имени Хопкинса, он получил кафедру профессора в Вислейене, писал статьи и начал составление «Истории Соединенных штатов».

Он говорил с кафедры о необходимости справедливой реформы — об ответственном демократическом правительстве, прошел все ступени блестящей университетской карьеры. В 1901 году попечители Принстона предложили ему стать ректором университета.

Он погрузился в реформу университета, нажил горячих друзей и врагов. И американцы стали находить на первых страницах газет имя Вудро Вильсона.

---

[1] Джемс Бьюкенен, американский политический деятель, в 1857 году избран президентом САСШ.

[2] Популярная биография любимого буржуазного героя, первого президента САСШ, Джорджа Вашингтона.

[3] Университет, в котором учится верхушка американской буржуазии.

[4] Знаменитый германский политик девятнадцатого века, деятельность которого была направлена на объединение Германии и на завоевательные планы в Европе.

[1] Вождь английских либералов второй половины девятнадцатого века.

В 1909 году он говорил речи о Линкольне и Роберте Ли,[1] а в 1910 году демократические хозяева штата Нью-Джерсей, под давлением сторонников реформ, пришли к замечательной идее предложить пост губернатора незапятнанному ректору университета, который привлек такое широкое внимание своей публичной борьбой за справедливость.

Когда Вильсон обратился к совету, который назначил его губернатором, он исповедывался в своей вере в общественного человека (мелкие буржуа смотрели друг на друга и скребли в голове), его голос усиливался:

— Обязанности увеличиваются; идут дни, которые застают нас в тревоге и растерянности. И потому мы должны обратить наши глаза ввысь, прочь от этих мелких долин, где нагромождения личных преимуществ затемняют и омрачают наш мир, к вершинам, к которым через ущелья скользит солнце — солнце бога, это солнце должно возродить людей. Это солнце освободит людей от их страданий и отчаяния и поднимет нас к тем горним местам, которые будут обетованной страной каждого, кто желает свободы и совершенства.

Буржуа маленького городишка смотрели друг на друга и скребли в голове; потом они выразили свое одобрение. Вильсон, паясничавший перед глупыми и надутыми буржуа, был выбран подавляющим большинством.

Так он оставил Принстон, реформированный только наполовину, для того чтобы стать губернатором штата Нью-Джерсей, и примирился с Брайаном.

На обеде, когда Брайан сказал: «Конечно, я знал, что вы не были согласны с моими взглядами», Вильсон ответил: «Все, что я могу сказать, мистер Брайан, это — что вы очень большой человек».

В июле Вильсон был намечен кандидатом в президенты республики. Его избрание было обеспечено, и он оставил штат Нью-Джерсей полуреформированным и перешел в Белый дом.

Наш двадцать девятый президент!

В то время как Вудро Вильсон переселялся в Белый дом, Джон Пирпонт Морган развлекался в одиночестве в своей конторе на Уоллстрите, выкуривая по двадцати черных сигар в день, ругательски ругая демократические глупости.

Вильсон, клеймя позором частные интересы, отказался признать Хуэрту[1] и послал войска в Рио-Гранде, чтобы утвердить политику бдительного ожидания. Он опубликовал книгу «Новая свобода» и лично излагал свои послания конгрессу, как ректор университета обращается к студентам. В городе Мобайле он говорил:

— Я пользуюсь случаем, чтобы сказать, что Соединенные штаты никогда не попытаются добыть лишний фут территории завоеванием, — и высадил десант в мексиканском порту Вера-Крус.

«Мы являемся свидетелями рождения общественного духа, пробуждения трезвого общественного мнения, оживления силы народов, начала эры вдумчивой реконструкции...»

Но мир уже закружился вокруг Сараева.

Сначала это была «нейтральность в мыслях и делах», потом, когда пошла ко дну «Лузитания» и нависла угроза над займами Моргана, Антанте было объявлено, что Соединенные штаты «слишком горды для того, чтобы драться». Но финансовый центр страны голосовал за войну. Первые люди одевались по моде Парижа и брали у Лондона открытое английское «а». К тому же еще дом Моргана...

Через пять месяцев после вторичного избрания в президенты того, кто «защитил нас от войны», Вильсон провел через Конгресс свой проект постройки военных судов и объявил состояние войны между Соединенными штатами и Германией:

«Сила без предела, без ограничения, наивысшая сила».

Вильсон стал государством (война — это оздоровление государства). Вашингтон стал его Версалем, снабдил общественное правительство денежными людьми из больших акционерных обществ и организовал большой парад людей, аммуниции. товаров, мулов, ва-

---

[1] Линкольн — американский президент середины девятнадцатого века. Ли — главнокомандующий армией рабовладельцев во время гражданской войны.

[1] Мексиканский президент, пытавшийся бороться с нефтяными магнатами САСШ, проникшими в Мексику.

Его любимым чтением была книга „Жизнь Вашингтона".

гонов, отправившихся во Францию. Пять миллионов человек каждый вечер стояли у бараков, пока играли «Знамя, усеянное звездами».[1]

Война принесла восьмичасовой рабочий день, избирательное право для женщин, сухой закон, принудительный арбитраж, высокие заработки, высокие прибыли. Почти слишком скоро все это было позади. Принц Макс Баденский обратился к четырнадцати пунктам программы Вильсона, Фош занял переправы через Рейн, кайзер, почти не дыша, бросился в поезд на платформе Потсдама в цилиндре и, как утверждали некоторые, с фальшивыми бакенбардами.

С помощью всемогущего бога, права, истины, справедливости, свободы, демократии, самоопределения народов, отказа от возмещения убытков и аннексий и сахара с Кубы, кавказского марганца, северо-западной пшеницы, хлопка, английской блокады, генерала Першинга, парижских такси и семидесятипятимиллиметрового орудия, — мы выиграли войну.

4 декабря 1918 года Вудро Вильсон, первый из президентов, покидавший свою страну во время своего президентства, отправился по Францию на борту «Джорджа Вашингтона» — самый могущественный человек во всем мире.

В Европе уже знали, как пахнет газ, и знали слабую сладковатую вонь, слишком близкую к поверхности земли, и серый цвет кожи голодающих детей; они читали в газетах, что мистер Вильсон был за мир и свободу, и консервы, и масло, и сахар.

Он высадился в Бресте со штабом экспертов и публицистов после бурного рейса «Джорджа Вашингтона».

Героическая Франция была там с речами, с поющими школьниками, с мэрами, носившими свои красные повязки (видел ли мистер Вильсон, как жандармы в Бресте отгоняли демонстрацию судостроительных рабочих, которые пришли его встретить с красными флагами?).

На вокзале в Париже он сошел с поезда на широкий красный ковер, который провел его между рядами посаженных в горшках пальм, цилиндрами, Почетным легионом, бюстами, украшенными мундирами, фраками, розетками, бутоньерками, к роллройсу (видел ли мистер Вильсон женщин в черном, калек в своих тележках, бледные, тревожные лица на улицах, слышал ли он эти мучительно звучавшие приветствия, когда они бежали за ним и за его новой женой к «Отель де Мюра», где в комнатах, полных парчи, золоченых часов, инкрустаций и бронзовых купидонов были приготовлены апартаменты президенту?).

Пока эксперты готовились к процедуре конференции, расстилая зеленое сукно на столах, приводя в порядок протоколы, чета Вильсонов предприняла поездку, чтобы показать себя. На другой день Рождества они были в Букингемском дворце.[1] В новый год они были приглашены к папе и микроскопическому королю Италии (знал ли мистер Вильсон, что в разоренных войной крестьянских домах по берегам Бренты и Пьяве зажигали свечи перед его портретом, вырезанным из иллюстрированных журналов? Знал ли мистер Вильсон, что народы Европы видели в четырнадцати пунктах вызов угнетению, как века до того они видели вызов угнетению в девяносто пяти пунктах, которые Лютер прибил к церковной двери в Виттенберге?).

18 января 1919 года, посреди плотных рядов мундиров, треуголок, золотого шитья, знаков отличия, эполет, высших орденов, высокие договаривающиеся стороны, союзные державы, встретились в салоне часов на набережной Орсей,[2] для того чтобы продиктовать мир.

Но большое собрание мирной конференции было слишком общественным местом для того, чтобы заключать мир, и высокие договаривающиеся стороны образовали Совет десяти, перешли в гобеленовый зал и, окруженные картинами Рубенса, начали диктовать мир.

Но Совет десяти был слишком общественным местом для того, чтобы заключить мир.

И они образовали Совет четырех.

Орландо[3] в раздражении уехал домой.

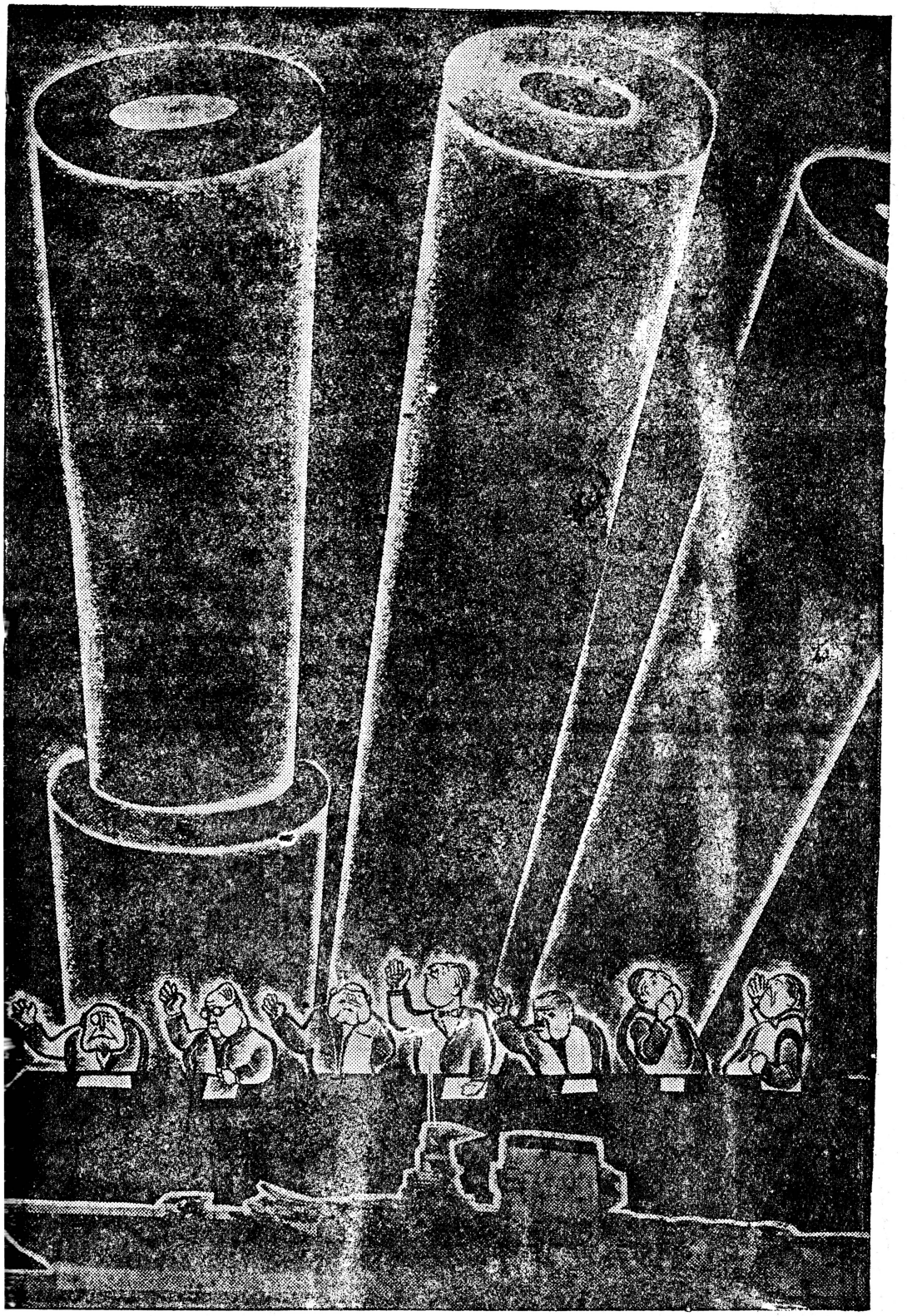
---

[1] Американский государственный гимн.

[1] Резиденция английского короля.

[2] Дом французского министерства иностранных дел.

[3] Итальянский министр иностранных дел, требовавший большей доли для Италии в Версальском грабеже.



Финансовый капитал голосовал за войну.

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ“

Генерал, который мечтал по-наполеоновски подойти к Петрограду, получить ключи от города и задушить революцию.

И они остались втроем: Клемансо, Ллойд-Джордж, Вудро Вильсон.

Три старика с табакеркой, которые тасовали карты: Рейнскую область, Данциг, польский коридор, Рур, самоопределение малых народов, Саарскую область, Лигу наций, мандаты, свободу морей, Трансильванию, Шандунь, Фиуме и остров Яп.

Орудийный огонь, пожары, голод, вши, холеру, тиф.

Козырем была нефть.

Вудро Вильсон верил в бога своего отца. Так он говорил прихожанам в маленькой церкви в Карлейле (где проповедывал еще его дед) в такой холодный день, что журналисты, сидевшие на старых церковных скамьях, надели пальто.

7 апреля он приказал «Джорджу Вашингтону» быть под парами, готовым к тому, чтобы доставить домой американскую делегацию.

Но он не уехал.

19 апреля более наблюдательный Клемансо и более наблюдательный Ллойд-Джордж снова заполучили его в свою узорную игру втроем в карты, которую они называли «Советом четырех».

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ“

Перед началом атаки командир отряда сказал речь

28 июня Версальский договор был подписан, и Вильсон мог уехать домой объяснять политикам, которые между тем действовали против него в Палате депутатов и в Сенате, и трезвому общественному мнению, и богу своего отца, как он позволил провести самого себя и как далеко он подвинулся вперед, обеспечивая мир демократией и новой свободой.

В тот день, когда он высадился в Хобокене и взял путь на стены Белого дома, он говорил о том, что хранит веру в свои слова, хранит веру в Лигу наций, хранит веру в самого себя, в бога своего отца.

Он напряг каждый нерв своего тела, своего мозга, каждое распоряжение правительства было под его контролем (если кто-нибудь не соглашался с ним, его передергивало, или он становился красным от раздражения; никакого прощения Дебсу).[1]

В Ситле уоббли, вожди которых были в тюрьме, в Ситле уоббли, вожди которых были линчеваны, которые были перестреляны как собаки, стояли четырьмя рядами, когда проезжал Вильсон, стояли молчаливо, скрестив руки, смотря на великого свободолюбца, когда он быстро проезжал в автомобиле, кутаясь в пальто, измученный усталостью, с подергивающейся половиной лица.

Люди в рабочих костюмах пропустили его в молчании, в то время как другие ряды провожали его аплодисментами и патриотическими возгласами.

В Пуэбло, штат Колорадо, он был уже седым человеком, который едва стоял на ногах, и одна половина его лица подергивалась.

«Теперь, когда рассеялся туман вокруг этого великого вопроса, я верю, что люди увидят истину вплотную глаз к глазу и лицом к лицу. То, к чему всегда стремится и протягивает руки американский народ — это вера в правосудие, свободу и мир. Мы приняли эту веру, и она ведет за собой нас и через нас весь земной шар в поля такого глубокого покоя и мира, о котором свет и не мечтал до сих пор».

Это была его последняя речь.

В поезде с ним случился удар. Он прекратил агитационную поездку, которая должна была подтолкнуть страну в Лиге наций. После этого он был разрушенным человеком, едва способным говорить.

В тот день, когда он передавал президенство Гартингу, объединенный комитет Сената и Палаты представителей назначил Генри Кэбата Лоджа, его смертельного врага, сделать формальный визит президенту и задать президенту формальный вопрос, имеется ли у него послание объединенной сессии Конгресса.

Вильсон постарался встать на ноги, поднимаясь с трудом, опираясь о ручки кресла:

— Сенатор Лодж, я ничего не имею вам сообщить, благодарю вас... до свидания... — сказал он.

3 февраля 1924 года он умер.

Перевод *А. Григорьевой.*

[1] Американский революционер, брошенный Вильсоном в тюрьму за выступление против войны.

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ"

.. За мир, за власть советов...

МИНИСТР *нажал* КНОПКУ[1]

С. МАРВИЧ
Рис. С. Верховского

1. ПРОНИКНОВЕННАЯ МЕДЬ

Каждый год по ту сторону железной дороги бывали маневры. В кустах ивняка, не мигая, следя за тем невидимым, которого знало одно начальство, стояли прямые солдаты. Очень скоро после того, как запустели на зиму 1914 года дачи, они, такие же прямые, в таких же кустах ивняка, умирали в Мазурских болотах, и начальство не могло им сказать, как лучше отбиваться от тех видимых, которыми командовал будущий президент германской республики. Когда в ивняке расставляли артиллерию, дачники собирались смотреть на маневры. Останавливались они на дороге, за которой начиналось поле, смотрели с интересом, но без теплоты. Бывали даже такие дачники, что довольно громко говорили под выстрелы: «По своим-то стрелять умеете, а вот по японцу...»

На лугу между двумя обрывами расположился кавалерийский полк. Полком командовал генерал Скоропадский, высокий, красивый, седеющий, через четыре года гетман Украины. Генерал любил гулять с двумя борзыми позади, такими же стройными и гнутыми, как он сам, и устраивать речные ученья. Эти ученья бывали каждый день. Темным ужасом наливались глаза коней, когда они, попытавшись не двинуться дальше, застывали у самой воды и, подколотые шпорами, низвергались в реку. Всадники не сидели в седле, а плыли, держась за повод. На другом берегу денщики выносили офицерам сухое белье.

От этих учений берега стали грязными, вязкими, невозможными для купанья. Генерал отдал короткое приказание, скорее белой перчаткой, чем голосом:

— Берег убрать!..

Но берег не убрали.

Вечером на лугу играла полковая музыка. Перед распахнутыми крыльями огромной великолепной палатки офицерского собрания, сам не зная для чего, стоял дачник, и тогда гвардейцы усиливали свое к нему равнодушие и свою значительную скуку. Если корнет требовал такого вина, которого у буфетчика не было: «Мозельвейну, ну, д'угого, хаа-ошего немецкого вина», то он выговаривал это с невозможной для его молодых лет пресыщенностью.

Офицеры ужинали под вальс «Осенние листья». Кто сочинил этот вальс, сейчас уже трудно узнать, но это, конечно, был военный капельмейстер. Имена военных капельмейстеров-сочинителей забылись. Спит глухим сном забвения капельмейстер Лейба Ариев Зундель, автор марша «Тоска по родине», Афанасий Глебович Прошечко, Сигизмунд Христофорович Стрижицкий, сложивший польку «Веселые дни Павлоградских гусар».

К ним отнеслись несправедливо. А это были особые с печатью глубокой проникновенности мастера. Безрадостен был их путь. Скромные военные чиновники, каждый с большой семьей, они боялись офицерских насмешек, конфузились, когда солдаты им отдавали честь, и вальсы посвящали офицерам своего полка. Когда снимали полковое начальство, их ставили в последний ряд и сбоку, и лица на фотографиях у них от испуга получались каменные. Офицеры на них не глядели, фельдфебеля их открыто не уважали. Это были последние музыканты феодалов. Натруженно, честно служа своему искусству, они шли от полубедного жалованья к бедной старческой пенсии. И вот в глухом забвении оказались их имена и их труды.

Вижу я предутреннюю базарную дорогу захолустья, которую сотрясает чугунный шаг российского солдата. Вижу, как от медных басов шарахается в канаву лохматая крестьянская лошаденка. Вижу, как, путаясь в азяме, побежал за возом, замахал руками, закричал чего-то, ухватился за оглоблю ее хозяин. Вижу я вечерний городской сад, скамейку офицеров, окончивших неудачную войну и неудачную революцию, вижу их единый, опасный для прохожего взгляд, их одинаково покачиваемую, переброшенную через колено левую ногу.

О, как умели забытые мастера насытить своим временем свои труды. Даже переложенное ими для меди второе скерцо из оперы «Паяцы», под которое, как известно, кавалерия проходила

[1] Из романа «Семья».

рысью на параде, звучит так, что вижу я тот самый берег Оредежи, где перед войной стоял полк генерала Скоропадского, вижу, как двое солдат уводят третьего, как с размаха ротмистр бьет этого третьего острым концом сапога в зад.

Самым сильным по выразительности, самым высоким по своей обобщающей картинности, самым насыщенным вскормившей его эпохой, самым... да, самым историческим из забытых трудов военных капельмейстеров я считаю вальс «На сопках Манчжурии».

Послушайте только! Бас начинает тягучую, уныло звучащую партию. Пары не кружатся, а только оборачиваются под нее. В этой тихой унылости вальса — неслышная дальневосточная ночь, покинутые войсками поля Ляояна, братские кресты на песчаных пригорках, безлюдье. Скорбным, коротким вздохом заключил большой барабан безрадостную фразу вальса. Но нет! Быстрее качнулась пара, ветер швырнул оборчатый шлейф на лакированное голенище партнера, закружилась пара. В медное звучанье ворвались плачущие корнет-пистоны. Нет, нет, не забыты, не покинуты эти далекие кресты в непроглядной ночи. По ним каждый год жгут свечи и льют слезы в золотых соборах столицы. Уцелевших каждый год выстраивают в железном зале Народного дома. К ним приезжает принц Ольденбургский, их кормят обедом отличившихся.

Я нашел этот вальс в остатках одной бархатной гостиной и бережно храню его. Капельмейстер твердо знал, что он хотел сработать. В издании для рояля он дополнил вальс последними замирающими терциями, обычными и пониженными квинтами. У одних терций он пометил: «говор солдат», у других: «голоса провожающих», «стук колес». И верно, когда я беру на рояле эти терции и квинты, передо мной плывет воинская платформа старого вокзала, ситцевые платки... Я почему-то вижу на полустанке отряд генерала Меллера-Закомельского, который водворял царский порядок на Урале и в Сибири, труп в опорках на кривой березе. Я вижу растворы вагонов, вижу косо посаженные бескозырки, свесившийся наружу, просмоленный хлебным потом, негнущийся сапог российского солдата.

Что за чудесная музыка! Она уводит к заглохшим, потерявшим русло родникам своего времени, она раскрывает передо мною ворота, за которыми стынет окаменевшее былое. Она растопляет тьму и прокладывает в нее светлую дорогу, идя по которой, я слышу разбуженное дыханье окаменевших годов.

„ДЕТИ РЕВОЛЮЦИИ"

Шли в атаку на Юденича. Пробирались сквозь свинцовый ливень. Гадали и поднимались на колени и били по врагу.

2. Свой солдат

В тот час, когда дачники собирались перед палаткой, военный министр нажал кнопку всеимперского аларма.

Потом на чужбине, больной и не нужный даже своим друзьям, военный министр писал, что, нажав кнопку, он мог совсем отойти от стола. Все делалось само собой. Аларм пробежал по всем губерниям. Сами собой свернулись палатки лагерей, сами собой легли в цейхгауз черные мундиры и оттуда вышли гимнастерки и шаровары того цвета, который первое время называли хаки. Сами собой протрезвели урядники. Великий князь получил высшую оперативную должность, сразу заголосили бабы, и на лица первого мужицкого резервного миллиона легла глубокая потерянность от этого аларма. Сам собой забродил по петербургскому небу первый военный прожектор, само собой выросло известие, что на вышке немецкой компании Зингера, где теперь «Дом книги», нашли искровой радиотелеграф. Сами собой интеллигенты указали на дверь агенту немецкой фирмы «Брокгауз и Эфрон», когда он пришел получать по счетам за Шекспира и Шиллера. Сам собой явился ветеран обороны Севастополя записываться в добровольцы, сами собой полезли в семейные тайники золотые монеты. Сама собой армия стала действующей армией.

Уж месяц неумолимая сухмень висела над Россией, сгорали листья, прятался гриб и наливалась земляника. Дачная Россия гуртом поперла на станционный солнцепек встречать войну. Воинские поезда начинали тормозить за версту до семафора, чтобы дачники успели сойти с пути, и не случалось дождя, и не сходила дачная Россия с вокзального солнцепека. Из-за ее восторгов ни один эшелон не мог по-военному, без задержек добраться до фронта. Эти восторги возникли с первой утренней газетой. Вчера еще дачная Россия лениво скрипела по гравию, насвистывала марш из «Конька-горбунка», ругала родину кто за что, а сегодня любили родину, сегодня были пьяны каждым словом манифеста, сегодня верили, что полковник Романов и генерал Романов думают за всех единым мозгом.

Эшелоном шел российский солдат действительной службы. Вчера это был чурбан с кирпичной рожей, который, как камень, часами сидел на кухне, облом в дурацкой бескозырке. А сегодня словно сами родили по солдату. Свой, свой солдат! Он и с пудей за панибрата, и на бомбе самовар согреет, и весь свой век может с полной выправкой простоять. Удивительно слаженным казался солдат. Толковый, степенный, добродетельный, сытый, озаренный каким-то новым светом и, наверно, в чистых портянках. Никакой пакости он себе на вражеской земле не позволит, только и будет, что побеждать. Сидел он в растворе товарного вагона добродушный и непобедимый, взятый с иконы, и словно хотел сказать: «Как я человек казенный, то все у меня в исправности».

Лишь только останавливался паровоз у водокачки, всегда оказывавшийся в толпе жирный голос заводил: «Спаси, господи, люди твоя...» и на песок в сладкой кротости опускались муслиновые юбки и теннисные штаны. В толпе дышал только один паровоз. В тишине рокотали чугунные слова государственной молитвы: «победы благоверному императору нашему...» Потом вскакивали и отдавались волнующим заботам. Надо было обласкать солдата, оделить его махоркой, яблоками и даже васильками.

Если вспомнить теперь разговоры с солдатами,—не настоящие это были разговоры,—то одно поражает в них. Образованный тыл трудился попроще говорить с мужицким фронтом и его же словами дойти до сердца, а мужицкий фронт натужно говорил по-образованному, не своими, неживыми словами и потому казался воспитанным. И снова забытые труды военных капельмейстеров оживляют в моей комнате, где Марке, таблица норм по ГТО, «Стетсмен Ир Бук» за 1931 год, эти неповторимые разговоры. Я беру те терции вальса, под которыми обозначено «говор солдат», и слышу:

Дачник (раздав махорку). Ребята, немцу гроб!

Солдат (в растворе вагона). Так точно и даже с панафидой.

Дачник. Ты его прикладом пыняй!

Солдат. Мы ему такое сартале-аморталe...

Дачник. Хлибкий он, квасное пузо.

Солдат. По лицу и факт.

Вчера еще у дачника был недоверчивый взгляд человека, который платил летний налог. Он ко всему примерялся придирчиво и даже исторгал из себя фронтовые слова и против табачного фабриканта Богданова, и против толстого татарина — содержателя станционного буфета, и против самого царя. Сегодня не стало этой пронзительности во взгляде дачника. Второпях начальство лучшего надавало эшелонам, и замечал дачник, что все надежно облажено вокруг его солдата. На платформах дымились кухни эшелонов. Знали, что варится здоровенная пища. «Смотри, смотри, телятину рубят»,— доброжелательно гоготали в толпе дачников. На пушки были натянуты новенькие чехлы. Кто-то видел окрашенных под травку артиллерийских лошадей, которых никак не различить будет немцу.

Кому же было гадать, что через месяц расстреляют все наличные снаряды, и ничем уже не помогут пушки тому сплошняку, который покатится к неприятельскому брустверу. Кто мог знать, что через три года грозовым последним летом германской войны другая короткая власть будет судить военного министра для того, чтобы насытить неистребимый гнев солдата. В кирпичное здание на углу Литейного и Кирочной, где теперь Дом Красной армии и флота, поведут под конвоем военного министра и его молодую жену. Туда же свидетелем придет недавний начальник Главного штаба, человек, взрощенный военным министром, и он, этот человек, не глядя на покровителя, сжав свое большое генеральское тело, будет отвечать председательствующему тяжелыми для участи покровителя словами.

Председательствующий (сенатор Временного правительства). Так вы говорите, генерал, что уже в сентябре 1914 года немцы подвозили артиллерию совсем близко к нашим позициям?

Человек, взрощенный военным министром. Они подвозили ее на двести шагов от наших окопов.

Председательствующий. Значит из наших окопов можно было видеть и лошадей и орудийную прислугу невооруженным взглядом?

Кандидат в неизвестные солдаты.

— Я бросаю казакам красную розу...

Человек, взрощенный военным министром. Да, конечно, хорошо можно было разглядеть.

Председательствующий. Значит неприятель был уверен, что у нашей пехоты нет даже патронов для того, чтобы достать с этого расстояния его артиллерию?

Человек, взрощенный военным министром. Да, если неприятель на это решался, то очевидно у него была такая уверенность.

(Накануне конвой в перерыве громко говорил, что суд тянет, что если суд скоро не окончит, то конвой сам покончит с волынкой.)

Председательствующий (поглядев на лица конвойных и быстро вспомнив об этом вчерашнем разговоре). Так значит это было открытое издевательство над беспомощностью нашего войска?

Человек, взрощенный военным министром (помолчав). Да, это было издевательство...

Кто из дачников мог тогда, восемнадцать лет назад гадать, что сразу же за семафором в эшелонах начинаются совсем другие разговоры, что васильки вплетают кобылам в хвост, что теперь уже не до чистых портянок, что от яблок пошел понос, первый понос действующей армии. Не было у дачной России ни вчерашнего глаза ни вчерашнего уха. Так уж повелось в веках, что войну Россия всегда начинала с бахвальства, как кулачный бой на реке. Бонапарт терял подвязки до самых Воробьевых гор. Воевода государства, оттягавшего для Темзы половину мира, если и разил Русь, то только указательным перстом и только на карте. Японскую макаку сшибали казачьей папахой. Вот и теперь начинали с того же.

3. КАНДИДАТ В НЕИЗВЕСТНЫЕ СОЛДАТЫ

Полк Скоропадского погрузился в два часа. Но эшелон простоял до вечера. Вороные жеребцы, — полк был сплошь вороной, — косясь испуганным взглядом в полутьму вагонов, рыли копытами дощатый настил. Гусары вскакивали с сена, кричали «балуй», и пропотевшая плеть унимала жеребцов. Офицеры выходили из штабного вагона, курили. Дачники шли домой обедать и пить чай и опять возвращались с васильками, яблоками, махоркой. А эшелон все еще не отправлялся. Внимательным, теплым взглядом следил дачник, как ходили офицеры вдоль вагонов, как заносили ошпоренную ногу на ступеньку площадки, как писали в походные книжки. Все это казалось новым и бесконечно значительным. Словно никогда и не было вчерашнего дачника, который холодно стоял у крыла богатой палатки и смотрел на эти чужие бокалы, на буфетчика, обносившего майонез, на этих далеких людей, словно никогда и не приходилось опасливо уступать дорогу этому малиновому звону, этой выпяченной в мир, неуступчивой груди, словно никогда и не был испорчен пляж.

Сегодня не стало ни обид ни холода. Дочери дачников бросали цветы в открытые окна штабного вагона и попадали в стриженых круглоголовых денщиков, которые располагали постели на вагонных диванах. Пожилой дачник, кажется, самый неприязненный из всех, кто вчера стоял у раствора палатки, подошел к корнету и тепло сказал:

— Скоро у вас будет сколько угодно хорошего немецкого вина, господин корнет.

— Что такое? — с высокомерием вчерашней рассеянности спросил корнет. Но тут же сказал по-сегодняшнему тепло:

— Да, да, благодарю вас.

И разнеженный дачник отошел к улыбавшимся дочерям.

Герман и Фира прибежали на вокзал, когда подходил эшелон пехоты. В двадцатый раз отыскался голос, в двадцатый раз опустились на станционный песок, и Герман закричал «куш!» своему огромному водолазу. Когда отзвучала государственная молитва, Герман придвинулся к товарному вагону и начал раздавать яблоки. Он был падок на лесть и тому солдату, который козырнул ему, он трижды ткнул в руку яблоком. Он уже почти роздал яблоки, как Фира жалобно закричала сзади:

— Герман, дай же тому!

Герман оделял яблоками тех, кто сидел у самой перекладины вагона. Один солдат не попал к перекладине. Он громоздился сверху, и его рука висела над головами товарищей, и Герман не замечал ее. Герман взглянул на сол-

дата, но так и не достал до его руки. Солдат неловко улыбнулся и оттянул руку назад.

Спустя много лет Герман стал поэтом. Он писал стихи о войнах и хорошо умел их читать. Но он навсегда остался хвастуном, неумным прохожим своего времени. Он не научился смотреть глубоко, зрело и остро. И ему-то, как никому, выпала дикая удача столкнуться лицом к лицу с Неизвестным Солдатом российской армии. Это был тот самый солдат, который напрасно протягивал руку за яблоком. Был он угловатый, видимо застенчивый, самый молчаливый во взводе, а быть может и во всем полку солдат. По нем никто не ревел. Он никому не писал писем. По воскресеньям он не ходил к кухаркам, а только потолкавшись у качелей, рано возвращался в казарму. В строю он делал то же, что и все, и лучше, чем многие, но его не производили в ефрейторы. Он не жаловался ни другим ни себе, он родился примиренным со своей незаметной жизнью. Он даже сам отодвигался в кроткую незаметность, потому что знал, что его место— там.

Когда его рука не достала до яблока, он ничего не сказал, только застенчивость усилилась на его лице. И он, ничего не получивший, ни махорки, ни яблок, ни васильков, вместе со всем взводом махал фуражкой убегавшей платформе. И даже совершая правильные перебежки к немецким окопам, он постарался попасть под такую пулю, которая пробила насквозь номер на его памятной бляхе. И когда опознавали убитых, его не могли опознать. Он был так же незаметно снят с довольствия, как и взят на него. По нем никто не ревел и никому не писали писем о нем. Это был самый подходящий кандидат в Неизвестные Солдаты России — безродная судьба, послушность приказу, чистоплотный нрав, смирная незаметность.

Если бы Россия закончила войну с царем или с министрами, сменившими царя, он был бы погребен у арки Главного штаба. Шесть вдов в длинном трауре, шесть вдов, породнившиеся с ним, как скорбные матери, перенесли бы в цинковом гробу к могиле его мертвое легкое тело. Итальянские резчики из Академии художеств, потомки выписанных Екатериной мастеров, выбили бы на гранитной плите его всеимперское, такое же неповторимое, как царское, звание. Днем и ночью за его могилой ходили бы угрюмые старики из единственной в империи золотой роты, ветераны японской и даже турецкой войны. Каждое утро офицеры Главного штаба, идя на занятия, отдавали бы честь его могиле. А в годовщины дипломаты, сняв треуголки, рассыпали бы на его гранитной могиле живые влажные цветы.

Герман не унес с собой лицо живого Неизвестного Солдата. Голова Неизвестного Солдата рванулась в качнувшемся вагоне, потерялась среди других голов и уплыла к семафору, к станции Дивенской, к Августовским лесам. И никто не смотрел на Неизвестного Солдата. Только на мгновение его взгляд встретился с огорченными глазами Фиры.

4. КРАСНАЯ РОЗА

За эшелоном с Неизвестным Солдатом прошел эшелон казаков. Как страшно они ревели про Ермака. Молодые, но осмоленные курчавой бородой, с медной серьгою в ухе, они казались клокотавшей лавиной, вырвавшейся на поверхность земли. И горе тому, на кого она обрушится! Спустя два года немецкий романист Штильгебауэр проникновенно писал, что казаки несли в глазах темное пламя фанатической веры в царя и церковь, и что с этим пламенем они ворвались в поля Восточной Пруссии. Дачники разглядывали казаков жадно, с блаженным ужасом.

А между вторым и третьим звонком зазвучал громкий, любивший звучать голос Мариана Петровича. Мариан Петрович стал еще прямее, и слозно прибавилось молодости в полуседых волосах. Он перебросил мохнатое полотенце на левое плечо:

— Господа, два пальца на правой руке у меня не сгибаются... Это удар казачьей нагайки девять лет тому назад... Господа! Дворцовая площадь... Кара... Верхоянск... Но теперь, господа, я этими самыми пальцами бросаю казакам красную розу. Я бросаю им потому, что они защитят человечество от прусских юнкеров.

И роза перелетела через голову старушки и упала в темную глубь лошадиного вагона.

Мариана Петровича перестали поднимать на воздух, когда к платформе подошел дальний пассажирский поезд. В окне второго класса стояли два француза. Французы приветливо улыбнулись, узнав в толпе кого-то из своих клиентов,—оба были из большого, самого большого в Петербурге гигиенического магазина на Морской. Оба разом крикнули:

— Vive la Russie!

— Куда едете? — спросил клиент.

— Paris... Nos regiments...

— Каким путем?

— Туда — через Одессу, обратно — через Берлин.

— Vive la France!

Пробежал через поезд молодой татарин с подносом, заиграл оркестр вольной пожарной команды—и уплыли к семафору оба француза и уплыл смотревший непонятными глазами молодой ксендз из Царства Польского.

По перрону брели три парня из гастрономии. Все в триковых тройках и в выходных лакированных сапогах. Они были пьяны последним вином, в последний раз спотыкались на этой платформе и крепко обнимали друг друга. Четвертый шел им навстречу. Он также был пьян, но рад по-особому. Он хлопнул самого высокого из парней и весело сказал:

— Митька, вот здорово, тебя взяли, а меня нет.

Но Митька только хитро улыбнулся через пьяное лицо:

— Как раз урядник тебе повестку понес.

И лицо радовавшегося, по-особому парня стало таким же, как у того первого миллиона резерва, который тряхнули пыльным мешком из-за угла.

Но тут осанистый старик в охотничьей куртке крикнул на всю платформу:

— Fritz, komm hier...

Парни метнулись к казачьему офицеру:

— Вашь бродь, это по-немецки?

— По-немецки.

— Митька, немцы, дуй их.

— Не надо, — лениво остановил офицер. Покажем, господа, им, что...

Он не сумел закончить и только щелкнул пальцами.

— Покажем, — быстро согласились парни и пошли дальше по платформе.

5. ЗАПАСНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ

На второй год войны Антон Казимирович жил в Варшаве. Он был весел и тогда, когда сдавали Варшаву. Двадцать лет под ряд генеральный штаб царя готовился вывозить Варшаву, когда придет ей час. Начали с того, что разграфили весь вокзал на нумерованные квадраты. Каждый чиновник, казенный ветеринар, казенный учитель знал, на какой вокзальный квадрат ему надо явиться, знал, что на этой плите будет ждать человек, который примет его вещи и посадит его в вагон. И когда первые немецкие снаряды разорвались над Замостьем, то оказалось, что у вокзальных квадратов вовсе нет номеров, что вовсе не ждут чиновников на этих квадратах готовые люди, и чиновники стали спасаться, как могли.

Услышав слишком близкий артиллерийский разрыв, Антон Казимирович быстро доел яичницу и высунулся в окно.

— Станек! — позвал он дворника.

Высокий, в молодые годы уланский унтер, седой усач, всегда дремавший напротив в портерной, вышел на улицу.

— Станек, влезь на крышу. Посмотри... Немцы подходят.

— Да нет же, пан, — лениво сказал усач, — отогнали. Москали подвезли десять корпусов кавалерии и триста пушек. Сам вчера видел,— и опять ушел в портерную.

Тут только Антон Казимирович увидел, что на улице никого нет. Он надел серый котелок, перекинул пальто через руку, взял саквояж и пошел к вокзалу. На углу он остановил военную двуколку, дал солдату пять рублей и уселся с ним рядом.

Так в августовский день Антон Казимирович и приехал в Петроград с перекинутым через руку пальто, в сером котелке и с саквояжем. И через месяц у него уже была комната с мебелью красного дерева, шуба, знакомые. Антон Казимирович влился в новое, выросшее в первый тыловой год племя. Семь, восемь, девять миллионов стояли под ружьем, лежали с ружьем, ходили без ружья. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый миллионы ходили зимним рассветом по соборным площадям и тянули:

«Ой при лужке, при лужке... конь гулял
на воле».

Нужны были этим миллионам бязь на портянки, ватники, соленая рыба, горох, иод, варежки с одним лишним пальцем для спускового крючка, хлороформ, бумага для закрутки, набрюшники, папахи, камфора. Люди того нового племени, в которое влился Антон Казимирович, ездили по всей тыловой империи. С севера они везли тюлений жир, треску, оленьи шкуры, из Киргизских степей — овчины, из Одессы — крахмал, с Дальнего Востока они гнали эшелон риса и, кроме того, везли при себе чемодан кокаина. Пришло неслыханное время; не стало залежалого товара. Каждый товар жил, каждый обязательно исторгал из себя тысячи, военные, но все-таки тысячи, в подешевленье которых еще не поверили.

Грузы Антона Казимировича и его племени всегда шли впереди военных.

Начальников станций дарили за это серебряными портсигарами, заграничными духами, заграничным шевиотом и деньгами. Ездить уже было трудно, но ездило это племя с приятностью. Проводники чай несли прежде всего им. Официанты всегда находили для них свободный столик. Всегда у них в чемодане оказывалась бутылка коньяку, и завязывалось знакомство с офицерами. Случалось, правда, что их высылали по этапу из города, случалось, что их бил истерический георгиевский кавалер, но это забывалось. Оставались лихие деньги, деньги войны, самые легкие за все времена деньги.

Каждый день главный интендант генерал Шуваев обходил по вощеному полу приемной всех являющихся к нему с товарами. За шаг до поставщика главный интендант вскидывал глаза и смотрел в упор. За этот шаг он должен был различить мошенника. И генерал говорил, что всегда умеет различать.

Шаг. Главный интендант вскидывает глаза. Перед ним — очевидный ярославец.

— Что предлагаете главному интендантству?

— Фуфаечки, ваше превосходительство, — отвечает ярославец.

— Сколько?

— Да с полмиллиона можем, ваше превосходительство.

— Цена?

— Недорого возьмем. По два тридцать.

— Какой ваш барыш?

— Немного, — почти вздыхает ярославец, — по гривенничку...

— Пятьдесят тысяч с одной сделки захотели? Не пройдет.

Шаг. Главный интендант вскидывает глаза.

— Что предлагаете?

— Серое мыло...

— Что предлагаете?

— Бутылки...

— Что предлагаете?

— Жмыхи...

— Дорого, сюда надо приходить с честными намерениями. В следующий раз заберу по твердой цене.

Через две недели. Шаг. Главный интендант вскидывает глаза. Перед ним Антон Казимирович.

— Что предлагаете?

— Фуфайки для нижних чинов, ваше превосходительство.

Главному интенданту нравится, что Антон Казимирович смотрит весело.

— Много ли?

— Четыреста девяносто восемь тысяч штук, ваше превосходительство.

— Цена?

— Три рубля пять копеек, ваше превосходительство.

— Не дорого ли? — обращается главный интендант к сопровождающему его чиновнику.

— Принимая во внимание качество, — говорит пожилой чиновник. Он опускает глаза под взглядом Антона Казимировича и внимательно рассматривает образец.

Через год тринадцатый, четырнадцатый миллионы шагали по соборным площадям уже в сапогах с веревочными смоленными подметками, а мыла солдатскому телу больше не да-

— Фуфайки для нижних чинов, ваше превосходительство!

вали. Пятнадцатый миллион гоняли по пять верст бегом кряду, но не могли из него выжать ни одной песни.

Петроград этого года новел день за днем. Улицы были полны никогда не бывавших здесь людей. Нехватало молока и уже были опасно переполнены дворовые люки. В каждом большом доме был лазарет. В кино показывали, как верховный главнокомандующий целуется с начальником штаба, приняв рапорт о взятии Перемышля.

Чиновный дворянский город был сдвинут с места. В партере Мариинского театра зрители, покупавшие место на всю жизнь, опасливо поглядывали на слишком живых небывалых соседей. Плыли по сцене лебеди, плыла знаменитая мелодия арфы, скрипки переходили с невольного уныния на мрачное предчувствие. Широко расхаживал злой дух. Томились любящие. И нельзя было забыть, что рядом в партере поместилось нездешнее лицо, слишком картавая речь, слишком резкие руки, слишком яркие бриллианты.

Еще плыли в тумане по особняковым улицам широкие сани с медвежьей полостью, рысачья пара под фиолетовой сеткой, выездной лакей в цилиндре с кокардой на запятках. Но уже резал туман автомобиль Антона Казимировича. Он подвозил его к крыльцу театра, где еще горели старые фонари, к банку, к бирже. Антон Казимирович входил улыбаясь в дворянскую кондитерскую Рабона на улице Гоголя и, мягко отталкивая других покупателей, говорил:

— Конфет два фунта... Да в бомбоньерку подороже.

День Антона Казимировича начинался рано. Ему начинали звонить еще до завтрака. Через комнату было слышно, как говорили о подошве, о чае, покупали и продавали ультрамарин и отправляли в Самарканд сальварсан.

— Воск? — звонко кричал в трубку Антон Казимирович. — Принесите пробу... Вагон будет. Приходите в банк.

После завтрака Антон Казимирович ехал в банк, потом в интендантство, потом автомобиль отвозил его на товарную станцию. Вечером он сидел в театре.

Антон Казимирович часто ездил на север к границе. В Белоострове жандармы брали под козырек, просматривая документы. Антон Казимирович выходил съесть порцию сосисок. Через двенадцать часов он подъезжал к Гельсингфорсу, а к концу суток слезал в Торнео. Слева с Ботнического залива налетал сильный сухой зимний ветер. Прямо лежала спокойная, не воевавшая уже вторую сотню лет Швеция.

Это был самый богатый торговый путь войны. В Торнео, в финские города приезжали шведы, и датчане, и норвежцы. Скупая финская земля сменила запертое со всех концов море. Порты были закрыты, но оставался кружный путь через граниты и снега Скандинавии. Этим путем везли то, что раньше возили морем. Норвежцы и шведы продавали бразильский кофе, британский индиго, германский аспирин.

Самые большие золотые миллионы бежали этим гранитным и снежным путем. Купцы, сидевшие по обе стороны границы, не видя один другого всю жизнь, растили миллионы на общих сделках. До войны в Дании было два миллионера, а через два года войны их стало пятьдесят. Встречные потоки золота неслись по гранитному пути. По всей обходной линии в теплых гостиницах и светлых биржах Скандинавии построились купцы, отводившие эти потоки в свою судьбу. Набежали сюда из всех воевавших стран самые подвижные, самые цепкие, самые смелые. Наезжал сюда Парвус, социал-демократ, острый писатель и военный прохвост. Он продавал в Россию германские термометры, германское лабораторное стекло и покупал для себя картины и виллы.

Военным торговым путем прошли караваны купцов, дипломатов, шпионов, финансовых экспертов. Прошли здесь английский генерал Сайкс и французский генерал Пико для того, чтобы делить в Петрограде Месопотамию, проливы, Аравию, Палестину. Прошел этим путем французский министр из социалистов Альбер Тома для того, чтобы убедить российских солдат в том, во что они к приезду Тома уже отказались верить.

Двумя месяцами раньше Ленин закончил этот путь и поднялся на броневик для того, чтобы говорить с рабочими и солдатами.

6. КОНЕЦ ПУТИ

Экспресс Торнео — Петроград пролетел за Выборг. Слева глянул залив. Он отшвыривал от своих снегов падавшие сверху солнечные шары. Из ложбин побежали к насыпи проволочные заграждения. Проводники задернули занавески, — за окнами начиналась военная тайна. В вагонах зажглось электричество.

Антон Казимирович сидел в вагоне-ресторане. На него работали два официанта.

— Паштет из рябчиков принес? — хлопотливо, но весело говорил Антон Казимирович. — А трюфеля? Клико, клико заморозь. Да фруктов дай. А сначала рябиновой.

За соседним столом сидел публицист с ниспадавшей полуседой прядью, с бледной островатой, идущей еще от Христа бородой. Он посетил английский участок фронта в районе Амьена и писал о величавых австралийских фермерах, отправившихся с винтовкой в Европу. Он писал об английских работницах, отдыхавших всего три рождественских дня за год. Он писал о том, как в кабинет Ллойд-Джорджа прошли четыре шахтера. Он писал, как за обедом у командующего эскадрой после сладкого подают сардины. Он назвал свою книгу «Братья с туманного острова». На публициста никто не работал. Не раз он вопросительно вскидывал глаза на официантов, но те озабоченно пробегали мимо. Антон Казимирович уже выпил рябиновой и съел паштет из рябчиков, но место на скатерти перед публицистом оставалось пусто.

— Не угодно ли? — сказал Антон Казимирович, указывая на свои закуски и вина. — Покорнейше прошу.

— Не беспокойтесь, мне подадут, — публицист слегка отодвинулся от стола.

— Ну, когда еще вам подадут! — весело сказал Антон Казимирович. — Торопитесь. Скоро Белоостров. А там прощай бутылочки! — он улыбнулся еще веселей.

Публицист открыл заграничный журнал, но Антон Казимирович громко продолжал:

— Давно изволите быть в дороге? Я так все время в дороге. Война... Дела погоняют. Вот теперь...

Антон Казимирович потянулся за рюмкой. Голубой бриллиант на его мизинце брызнул ответным светом прямо в лампочку.

— Огромное дело. Везу машины. Будем ставить завод. Замшу из крысиных шкурок делать. Три миллиона штук в год...

Не дождавшись услуги, публицист поднялся и пошел к себе в вагон, провожаемый веселым взглядом Антона Казимировича. В купэ он достал коробку английских галет. Рядом на диване сидел красивый поручик русского корпуса во Франции. В этот корпус подбирали только красивых офицеров. Поручик внимательно чистил ногти и рассказывал публицисту, как восхищенно ахнул Марсель, увидев бородатых фельдфебелей корпуса. В этот корпус подбирали только бородатых фельдфебелей. Весь Марсель высыпал на набережную, когда первый высаженный полк шел под песню:

Эх, бац в барабаны,
Собирались бабы в
в бане...

— Видали вы того гладкого, что в вагоне-ресторане? — перебил публицист поручика. — Что с ними после войны будет? Неужели так и останутся богатыми и наглыми?

— Во Франции говорят: «Победим, вернемся и повесим...»

Бежали последние вечерние финские леса. За окном спиной к поезду стоял медлительный торпарь. Ветер взметал искры из его носогрейки. Торпарь разделывал пень.

— «И повесим...» — задумчиво повторил публицист, доставая подушку-думку, чтобы отдохнуть.

Антон Казимирович мягко прошел по коридору к себе в купэ. Он также прилег отдохнуть перед Петроградом, и сразу ему начал сниться привычный молодой, давно уже не нужный ему сон о том, что он знакомится с богатой красивой вдовой. Антон Казимирович никогда не догадывался подумать, что станется с ним, когда окончится это не устоявшее перед его тугим племенем время.

Что было положено для Антона Казимировича за двумя, за тремя годами? Верно то же, что и для всех, кто с других сторон сбегался на этот обходный торговый путь. Если бы закончилась война с российским Неизвестным Солдатом у арки Главного штаба в Петрограде, то и дальше весело шел бы Антон Казимирович вровень с приставшим к нему счастьем.

Нет, он был слишком подвижен, чтобы, сорвав миллионы, сидеть часами в парламенте. А впрочем кто знает, может быть он все-таки пошел бы туда, как пошел его французский брат по новому легкому племени, Франсуа Лушер. И утром Антон Казимирович весело слезал бы у крыльца парламентского Таврического дворца. И вечером привозили бы ему окончание прений в Петроградско-Шведский банк.

В те дни, когда вслед за франком или раньше франка панически начинал дешеветь рубль, газеты печатали бы веселое лицо Антона Казимировича, как возможного кандидата в министры финансов. Оппозиционные газеты печатали бы его лицо с подписью: «Он-то знает, но никому не скажет, когда остановится наш рубль». Но нет, Антон Казимирович слишком радовался жизни, чтобы в пять часов утра менять молодой сон о красивой вдове на формирование кабинета. Антон Казимирович был слишком подвижен, чтобы сидеть в парламенте. Он вероятно строил бы [illegible] картели. И [illegible] бы себе всяких дел и всяких людей с уплатой в те сроки, когда рубль должен был чудесно дешеветь. В великие годовщины Антон Казимирович слезал бы в блестящем цилиндре у дверей своего приюта военных сирот. В солнечные дни он вручал бы на взморье победившей яхте переходящий приз своего имени.

А когда в дни дорогих денег Антона Казимировича объявили бы банкротом, то оказалось бы, что он сумел сберечь от должников пакет акций Путиловского завода, гранильную фабрику, богатое собрание богемского стекла, самый большой кинематограф в Петрограде, одну газету и одну каботажную компанию. И публицист с островатой бородкой написал бы об Антоне Казимировиче книгу «Человек из тьмы».

Или нет... Антон Казимирович ведь очень, очень любил жизнь. И весело глядел на всех, кто подходил к нему. Он был проще, чем организатор вертикальной картели. Он стал бы надпартийным банкиром, как мадам Ано. Или нет... Он был еще проще. Он продавал бы готовое платье в богадельню инвалидов войны. Это платье держалось бы на инвалидном теле не больше двух недель. Антон Казимирович

был бы в дружбе со всей городской управой. А когда Антона Казимировича обвинили бы во взятках, публицист с островатой бородкой написал бы о нем фельетон «Петроградский Бармат, или военный обормот».

...Через четыре года северокавказский эшелон стал кирпичной стеной в полосу вечернего света на станции Лиски. С эшелоном Кавказская Краснознаменная армия отсылала на север штатских агитаторов Деникина, которые не успели вместе с Деникиным уйти в море.

Публицисту с островатой бородой позволили выйти на полчаса из вагона. В измятом от долгого лежанья пиджаке публицист медленно заскрипел по песку. По обеим сторонам открывалась пустая осенняя степь. Утки выбирались из станционного пруда на берег и громко орали о том, что идут домой. Публицист дошел почти до семафора. Часовой сказал ему, что дальше итти нельзя. Публицист остановился. Со станции уходил в сторону Кавказа порожний состав. Публицист прошел к своему вагону, но остановился и стал глядеть вслед кавказскому составу. Справа и слева от полотна расправлялись под солнцем два осокоря. Состав проходил между ними в степь. Зажатый вагонами ушел в степь один чужой, не красный, а серый, не с тормозной площадкой, а с башенкой для тормозного. Это был финляндский вагон, плутавший по всей распавшейся империи.

Публицист поглядел на него и вспомнил экспресс Торнео—Петроград, и вагон-ресторан, и Антона Казимировича.

По Антона Казимировича уже не было. В теплый сентябрьский день, скоро после того, как стреляли в Ленина, Антон Казимирович высунул голову в окно, — он жил тогда в своей большой квартире, — увидел красноармейцев, которые входили в парадную. Антон Казимирович надел котелок, перекинул через руку пальто, в котором были зашиты Нобелевские акции, взял саквояж, повернул кольца камнями к ладони и, как тогда в Варшаве четыре года назад, пошел на улицу. Он вышел на черную лестницу, но внизу уже стояли красноармейцы. Тогда он побежал на чердак, вылез на крышу, хотел перебраться на соседний дом, но соседний дом был много выше. Антон Казимирович притаился за дымовой трубой. Когда из слухового окна показалась голова красноармейца, Антон Казимирович выстрелил. Когда показалась вторая голова, он опять выстрелил. Он думал, что красноармейцев только двое, но их было больше. Антона Казимировича сняли с крыши тогда, когда он расстрелял все патроны. Когда его вели вниз по черной лестнице, он слышал, как за дверью ломают прикладами стену в его замурованную комнату, где до верха лежали шевиоты, шелка, кабардины.

В тюрьме Антон Казимирович очень тосковал, хотя и видел многих знакомых на прогулке. Но близко к утру к нему все еще приходил молодой, давно уже ненужный ему сон о том, как он знакомится с красивой вдовой. Когда его вели расстреливать, он выл на весь корпус, пятился, хватался за каждую скобу.

ЖАН ЛЕОН ЖОРЕС

М. ИВАНОВСКИЙ Портрет рисовал А. Васильев Предисловие **С. М.**

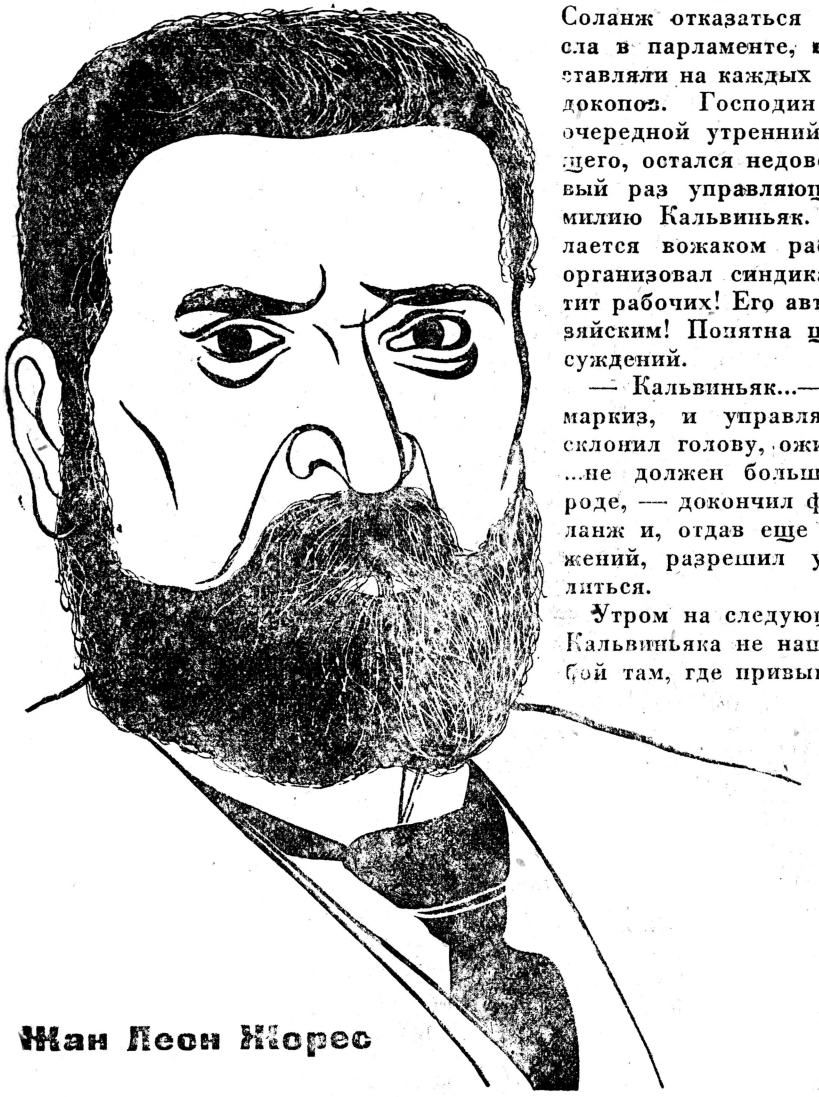
Первый выстрел французского империализма в мировую войну был направлен в сердце Жореса. Руками одного из своих агентов империалисты убрали его с пути. Французская буржуазия боялась Жореса. Она боялась его боевых выступлений против милитаризма. Она боялась, что он, — замечательный оратор, пользовавшийся огромной популярностью в рабочих массах, — возглавит активное движение. Лицемерно осудив убийцу, сделав похороны Жореса „национальным событием", французские министры и генералы облегченно вздохнули от сознания, что Жореса больше нет в живых.

Для нас жива память о Жоресе, о трибуне, который страстно боролся с военной опасностью и пал одной из первых жертв мировой бойни. Но мы не можем забыть, что путь Жореса, крупного теоретика и практика довоенного Второго Интернационала, не был свободен от крупных ошибок, от немалой доли реформизма. Жорес резко расходился с революционным марксизмом, хотя и избегал об этом говорить. Человек, пришедший в социалистическую партию с кафедры профессора философии, никогда не был подлинным материалистом-диалектиком. В одном из своих теоретических трудов Жорес утверждал, что „материалистическое понимание истории не мешает ее идеалистическому объяснению".

Такие крупные теоретические ошибки не могли не уводить Жореса в сторону от подлинной революционной практики рабочего вождя. Жорес и его группа одобрили вступление в буржуазное правительство социалиста Мильерана, указав этим самым путь для других карьеристов-ренегатов. Мы имеем высказывания Жореса об „отмирании классовой борьбы". Для Жореса еще не вполне была ясна глубокая лживость буржуазной демократии. Вот почему он, грозя буржуазии массовой революцией в случае объявления войны, в то же время думал, что французское правительство исполнено мирных намерений.

Ошибки Жореса для нас — не забытое прошлое, не вчерашний день. Эти ошибки перешли в политический багаж реформистов. „Известно, что теория, если она является действительной теорией, дает практикам силу ориентировки, ясность перспективы, уверенность в работе, веру в победу нашего дела" (Сталин).

Теоретические ошибки Жореса не могли не отразиться и на его практической революционной работе. Волна революции на Западе поднимается выше и выше. На пороге стоят великие классовые битвы. Накануне этих битв мы должны непримиримо драться за полную чистоту марксистско-ленинской теории. Если ошибки Жореса, отдавшего свои силы и свою жизнь на то, чтобы остановить войну, еще живут в настоящем, то наша обязанность — указать на них молодому читателю.



Жан Леон Жорес

Кармо — маленький городок на юге Франции. Свыше столетия Кармо принадлежал богатым и влиятельным промышленникам, маркизам де Соланж. Они владели угольными копями и следовательно городком рудокопов. Сорок лет назад, в 1892 году, этот захолустный городок стал известным. О нем говорили, о нем писали в газетах. А поводом к этому послужило небольшое в сущности событие. Оно заставило также господина Людовика маркиза де Соланж отказаться от депутатского кресла в парламенте, которое ему предоставляли на каждых выборах голоса рудокопов. Господин маркиз, выслушав очередной утренний доклад управляющего, остался недоволен: уже не в первый раз управляющий упоминает фамилию Кальвиньяк. Этот рудокоп делается вожаком рабочих. Кальвиньяк организовал синдикат! Кальвиньяк мутит рабочих! Его авторитет спорит с хозяйским! Понятна цепь хозяйских рассуждений.

— Кальвиньяк...—медленно произнес маркиз, и управляющий почтительно склонил голову, ожидая приказаний: — ...не должен больше оставаться в городе, — докончил фразу маркиз де Соланж и, отдав еще несколько распоряжений, разрешил управляющему удалиться.

Утром на следующий день товарищи Кальвиньяка не нашли его рядом с собой там, где привыкли его видеть каждый день. Он не прогулял. Нет, его место не пустовало. Оно было занято другим. Кальвиньяка уволили и сделали это внезапно и без объяснения причин. И говорили, что хозяин копей, владелец города, депутат от рабочих, маркиз де Соланж лично распорядился уволить Кальвиньяка.

В этот день отметчики зарегистрировали падение добычи угля. От забоя к забою, по штрекам и штольням, передавали весть об увольнении друга и вожака Кальвиньяка. Тревога и негодование мешали рукам рубить уголь так же привычно и ровно, как всегда. На следующий день отметчикам совсем было нечего делать. На работу пришел только один старик-бобыль. Он жил на от-

шибе и ничем не интересовался. Он не знал, что копи бастуют, что рудокопы приходили к воротам только затем, чтобы передать хозяину требование:

— Кальвиньяка принять на работу.

Других требований стачечники не выставили. Де Соланж заартачился и уволенного принять обратно отказался. Стачка стала застойной. Кто дольше выдержит — маркиз или углекопы? Карман с самодурством господина маркиза или товарищеская спайка со здоровьем детей горняков? Через несколько дней убытки стали чувствительны. Установившиеся в равновесии весы стачечной борьбы качнулись в сторону рабочих. Карман начал сдавать. Маркиз пошел на уступки. Через управляющего он передал, что за дни стачки будет уплачено, сделают и послабление в штрафах. Стачечники спросили через управляющего, будет ли Кальвиньяк на работе?

— Нет, — отрезал маркиз.

Карман уступал, но самодурство уступить не могло. На сходке, когда обсуждали предложение де Соланжа, Кальвиньяк заявил:

— Я обещаю, что сам оставлю работу и покину пределы владений господина маркиза через двадцать четыре часа после того, как он меня примет на работу.

Кальвиньяк давал хозяину лазейку, повод для компромисса. Ему было неловко, что сотни рабочих семей начинают голодать из-за него одного. Де Соланжу передали слова Кальвиньяка. Маркиз был упорен. Отрезал—нет — и язык не поворачивался сказать иное. Горнякам победа стала делом принципа. Устоять, показать сплоченность, выдержку, значит облегчить себе борьбу и на будущее время. Сходка постановила:

— На работу пойдем только вместе с Кальвиньяком.

В штольнях не светились огоньки рудничных лампочек. Весы стачки снова пришли в равновесие. На чашке маркиза доходы и самодурство, на другой — спайка горняков. Ни то ни другое не перетягивало. Дело шло о принципе, и упорство сторон было велико.

Неожиданно на чашку стачечников положил свое легкое перо журналист и профессор философии Жан Леон Жорес. Перо, как тяжелая гиря, легло и перетянуло. Десятки статей, горячих и резких, вышли из-под пера Жореса. Он обрушился на де Соланжа. О забастовщиках города Кармо заговорили в Тулузе, в Париже, во всей Франции. Социалисты, радикалы, большинство членов парламента высказали свое недовольство. Де Соланж уступил, де Соланж обиделся и сложил с себя звание депутата от города Кармо. Это место городок Кармо отдал Жану Жоресу и с тех пор больше не менял своего депутата.

Жан Жорес поехал в Париж. Он вернулся в парламент, куда его однажды случайно выбрали и через четыре года забаллотировали. Тогда, в 1885 году, в дверь робко вошел двадцатипятилетний профессор, грубый, неотесанный, с фигурой и руками крестьянина. Он нерешительно осматривался, выискивая местечко, где бы сесть, и, не зная порядка, уселся в первое попавшееся кресло в центре, где сидели махровые реакционеры и монархисты. В этом кресле он пробыл четыре года, пуще всего боясь выступать с речью на трибуне. И даже мысль об этом казалась ему ужасной. Но быть в парламенте и не выступить — нельзя. Жорес выступил.

— Этот увалень хорошо говорит, — толковали потом между собой депутаты о Жоресе, собравшись в курительной комнате во время перерыва.

— А какой он партии?

— Совершенно неизвестно, он никуда не записан.

— А сидит в центре!

И вожаки множества партий и группировок начали охоту за единственным беспартийным депутатом, потому что он хорошо говорил.

Но дичь оказалась неподатливой.

— Пока существует грубая власть капитала, мы можем сколько угодно нагромождать законы о социальном обеспечении, но до самого сердца социальной проблемы мы не дойдем, — заявил Жорес в одной из своих первых речей.

Жорес шел налево, к социалистам. И на выборах 1889 года патриархально-буржуазный городок Кастo не выбрал Жореса в парламент, и он в 1892 году вернулся к трибуне депутатом горнящкого Кармо

Одна из иллюстраций в современном Жоресу журнале, изображающая Жореса спорящим в кулуарах парламента.

Двадцать пять лет стены парламента, Париж, вся Франция и даже Европа были наполнены звуками его голоса, громом его речей. Слово сказанное, слово написанное было единственным оружием Жореса. И этим оружием он владел как никто в мире. Однажды, когда реакционеры насели на социалистов, когда «болото» перешло на сторону правых и провал предложений социалистической фракции становился неизбежным, единодушный выкрик раздался на скамьях левых:

— Жорес! На трибуну!

К трибуне уже пробирается неуклюжий, мужиковатый мужчина. Он, как крестьянин, ступает грузно и тяжело, как-то неловко взбирается на трибуну. В проходах стихает. Пустые кресла заполняются. На хорах публика сдвигается ближе к решетке, курительные и буфет пустеют.

— Жорес будет говорить. Жорес взял слово. Жорес... Жорес... — шуршит имя великого оратора на скамьях депутатов, в публике, в проходах.

Кто слышит Жореса впервые, не может скрыть своего удивления. Ожидали увидеть оратора, а на трибуне мнется нескладно-широкий, низкорослый человек в старомодном платьи. В зале тихо. Слушают напряженно, внимательно. А оратор переступает с ноги на ногу. Говорит медленно, тягуче, так же неуклюже, как и его вид. Зачем-то засовывает правую руку в карман брюк и вытаскивает из кармана левую. Затем вытаскивает правую и прячет левую руку. Увалень мнется, жует слова. Новичок на хорах отворачивается. Неприятно смотреть, и слушать нечего. «Не стоило бы и ходить», — мелькает мысль в мозгу новичка. И чем только люди увлекаются! «И это — Жорес?» — шепчет он приятелю-соседу.

— Тсс!.. тише!.. — шикают на новичка.

Сосед шопотом отвечает:

— Подожди.

Новичок со скучающим видом рассматривает лепные украшения на потолке. Вдруг как бичом хлестнул рез-

кий возглас оратора. Рубленые четкие фразы сменили неуклюжую речь. Полилась рокочущая южная речь. Голос вырос. В глазах слушателей тает его нескладная фигура. Руки окончили свои блуждания из карманов и обратно, они нашли свое место — над головой, вперед. Они точно направляют слова вправо, влево. Голос наполнил зал. Жорес гремит, клокочет. Его блестящая речь переполнена мыслями. Она проста, понятна и красива. Мысли следуют одна за другой, как звенья цепочки, выкованной искусной рукой. Цепочка мыслей, интересных фактов, увлекающих образов сковывает слушателей, подчиняет их волю, их мысль воле и мыслям Жореса.

Однажды Жорес говорил о парламентском большинстве. В секундном перерыве между фразами кто-то со скамьи правых негромко произнес:

— Вы сами один — большинство!

И он был прав. Речь Жореса раскалывала зачастую правых и заставляла их голосовать за предложение, противниками которого они являлись. Нельзя сказать, что Жорес говорил красиво, его голос был скорее некрасив, а речь даже несколько монотонна, как монотонен шум морского прибоя. Но разве нельзя простоять часами у моря и слушать шум его? В стихийной монотонности, в глубине моря мысли, разнообразии красок, фактов, образов крылась могучая сила речи Жореса.

«Атлет трибуны», «человек-дьявол»— называли его современники.

Жорес своим могучим оружием не раз наносил смертельные удары министрам реакционных партий. Президент Перье продержался только два дня после речи Жореса, разгромившего его деятельность. Жореса всерьез называли тайным диктатором Франции, — настолько велико было его влияние.

Один из забавных исторических анекдотов — это учреждение во Франции республики. Она была установлена единогласно — большинством только одного голоса. Это показывает равенство сил, которое делало политическую борьбу особенно напряженной и ожесточенной. Почти десятилетие этой борьбы проходило под заголовком «Дело Дрейфуса». Дело это сейчас почти забылось и изгладилось из памяти.

Альфред Дрейфус, ни в чем неповинный человек, далеко стоявший от политики, знавший только свою службу и семью, оказался центром сложной политической интриги. В Дрейфусе, к несчастью для него, сочетались: чин капитана и национальность — еврея. Капитан и еврей. Это стоило ему восьми лет жизни в могиле для живых, восьми лет заключения на Чортовом острове — маленьком, необитаемом островке океана.

Клубок интриг, свернувшийся вокруг Дрейфуса, сложен и запутан. Французский империализм затаил ненависть к германскому, разгромившему Францию в 1870 году. Русский царизм обладал самой многочисленной, самой послушной армией в Европе и кроме того отличался антисемитизмом. Опорочение республики во Франции, ее уничтожение — цель французских реакционеров. Эти три совершенно различных нити и образовали клубок интриги.

Капитана Дрейфуса обвинили в государственной измене, в военном шпионаже, и военный суд генеральской клики приговорил Дрейфуса к ссылке на Чортов остров. Дело как следует раздули, чтобы оно дошло до Петербурга. Французский империализм кокетничал с русским царизмом и выказал свое расположение приговором над евреем. Российское пушечное мясо нужно было для разгрома Германии в ближайшую войну. Ссылка Дрейфуса заменяла традиционный подарок, начинающий дружбу. Право евреев служить в армии завоевала республика, и это порядком досаждало генеральской клике. Приговор над Дрейфусом бил по республике, — она открыла евреям дорогу в армию, и первый же еврей оказался шпионом. Пять лет держали реакционеры этот козырь в руках, укрепляя дружбу с Россией и наседая на республику. Он служил бы им и дольше. Но Дрейфус оказался мужественным и сильным человеком.

Пять лет полуголодного существования, пять лет молчания, потому что разговаривать запрещалось, сна на одной доске вместо нар, не сломили его. Несмотря на жуткий режим, установленный в могиле для живых, Дрейфус не потерял сил и пользовался каждым случаем, чтобы заявить о своей невиновности. Дальними,

окольными путями известие о невиновности Дрейфуса проникло в печать. Военный суд, под давлением общественного мнения, дело пересмотрел, но все же свой первый приговор утвердил. Дело вспухло от вороха подложных документов, ложных свидетельских показаний, мобилизованных генеральской кликой, газетных статей и прочей переписки. Газеты не скрывая называли имя действительного шпиона, который был оправдан и находился на свободе. Вокруг дела образовались сотни мелких интриг, еще более запутавших его. Запутанный узел разрубил величайший писатель, Эмиль Золя своим письмом в газеты. Письмо начиналось словами:

Я ОБВИНЯЮ

«Я обвиняю подполковника Пати де Класси в том, что он был демоническим создателем судебной ошибки и что он защищал свое бесчестное дело в продолжение трех лет путем наиболее темных и преступных махинаций.

Я обвиняю ген. Билло в том, что, имея неопровержимые доказательства невинности Дрейфуса, он скрыл их и тем оскорбил человечество и правосудие ради политической цели и спасения скомпрометированного генерального штаба.

Я обвиняю генерала Пелье и майора Радери в том, что они произвели гнусное следствие, самое чудовищное по своему пристрастию.

Я обвиняю экспертов Бельома, Варинара и Гуара в том, что они дали ложные показания.

Я обвиняю, наконец, первый военный суд в оскорблении правосудия, выразившемся в осуждении обвиняемого на основании документа не предъявленного ни подсудимому ни его защитнику.

Я обвиняю второй военный суд в покрытии этого беззакония путем юридического преступления заведомого оправдания виновного.»

«Я обвиняю!..»

Социалистическая партия держалась в стороне от этого дела. Социалисты считали, что вмешиваться в склоки, затеянные буржуазными партиями, им незачем. Жорес строго придерживался партийной дисциплины и не вступал в дело Дрейфуса. Но Золя привлекли к суду за его письмо. Жореса вызвали свидетелем. Собранные материалы отчетливо показали ему, что приговор над Дрейфусом — это подготовка войны с Германией, это удар по республике. Нарушая партийную дисциплину, Жорес выступил в парламенте, обрушившись со всей своей мощью на генеральскую клику, на реакцию, на правительство.

Первые же слова Жореса вызвали бурю негодования на правых скамьях. Шум и крики не стихали ни на минуту. Рев стоял в парламенте. И весь шум перекрывал могучий голос Жореса. Слов уже не слышно. Интонация, отдельные слова намекали на путь мысли, на блестящую цепь фраз, покрывавших позором министерство. Жорес превратил свою знаменитую речь в защиту Дрейфуса — в обвинение реакционных сил, готовивших мировую войну. И речь эта закончилась настоящей кулачной дракой депутатов. Жорес бросил все силы на дело Дрейфуса: статьи, митинги, речи. Все собранное вышло затем отдельной книгой, которая предвосхитила ход следствия и суда — уже третьего, закончившегося полным оправданием невинно осужденного.

Кампания так озлобила правительство, что собирались арестовать всех защитников Дрейфуса и главным образом — Жореса. Однако влияние этого титана слова было столь велико, что арестовать его не решились. Но с каждым годом Жорес становился все более и более опасным противником войны. Он выдвигает идею одновременного международного выступления против войны. Он голосует за всеобщую стачку против войны. И последние дни перед войной он проводит в неутомимой и кипучей деятельности.

За воротами Парижа собрался небывало многочисленный митинг. Считали, что пришло двести тысяч человек, чтобы демонстрировать свое нежелание воевать. Жорес не успел приехать к началу и, стоя у края толпы, пытался пробиться к трибуне. Но двухсоттысячная толпа стеснилась к трибуне так плотно, что пройти никак было нельзя. Ораторы разоблачали подготовку войны, тайные пружины, которые для многих уже тогда были очевидны и ясны. Толпа узнала Жореса. Его подхватили на руки и бережно над головами передавали к

трибуне. Жорес благополучно совершил необычайное путешествие и произнес одну из сильнейших речей.

В Париже, Лионе, Брюсселе и во многих других городах он был, чтобы вооружить всех против войны.

— Каждый народ появляется на дорогах Европы с факелом в руках. Отсюда и пожар. Двоедушная русская дипломатия сейчас станет на сторону сербов против Австрии и скажет: сердце великого славянского народа не выносит насилия над маленьким славянским народом Сербии. Да, а кто ударил Сербию в самое сердце в 1877 году? — И Жорес вскрывает махинации русских и австрийских дипломатов, не поделивших балканских стран, происки Франции, захватившей себе Марокко, отдав Триполитанию Италии, и т. д.

Разоблачения были резки и точны. Часовой механизм адской машины мировой войны обнажался перед глазами сотен тысяч, слушавших Жореса. Речи Жореса вызывали негодование всех, кто его слушал. Трудящихся — против войны. Остальных — против Жореса. Сотрудник «Юманите», принимая ежедневную почту, каждый день, вскрывая письма, находил записки с угрозами по адресу редактора «Юманите», Жореса. Сотрудник принес одно письмо, чтобы показать его Жоресу. Тот махнул рукой:

— А, это все глупости. Не обращайте внимания!

Он был слишком поглощен надвигающейся войной, чтобы уделять время анонимке и принять хоть какие-нибудь меры предосторожности. Угрозы же приняли систематический характер. В газете «Аксион франсез» за подписью Жип было напечатано:

— Интересно было бы знать, что переменилось бы в незыблемом порядке вещей, если бы вместо Кальметта был убит Жорес?

Кальметт, редактор «Фигаро», был убит, за разоблачение интимной жизни министра Кайо, женой Кайо.

31 июля. Война надвигалась как лавина. Каждый час приносил известия о ее приближении. Жорес в этот день распорядился созвать федерацию социалистической партии Сенского округа, «чтобы определить тактику, которую Интернационал ждет от нас». Совещание было назначено на воскресенье. Целый день Жорес провел в министерстве и на собраниях, пришел в редакцию поздно, около восьми вечера, и решил спуститься вниз — пообедать. С ним пошли и сотрудники газеты, обсуждая события и содержание следующего номера «Юманите». Ресторанчик «Полумесяц» помещался под «Юманите», и там постоянно обедали сотрудники, и Жорес бывал частым гостем.

Налево от входа оказался свободный стол, его и занял Жорес с журналистами. Рядом за столом обедал журналист Долье с женой. Они повидимому только что были в фотографии, потому что Долье рассматривал новенькую карточку маленькой девочки. Жорес, пока подавали обед, давал сотрудникам инструкции. Потом обед помешал деловой части, ее решили докончить в редакции. В перерыве между кушаньями Жорес заинтересовался карточкой дочки Долье, внимательно ее рассматривал, расспрашивал отца о ребенке. В это время в дверь вошел типичный парижский апаш в каскетке и пиджаке с поднятым воротником. Апаш не побыл в «Полумесяце» и минуты, оглядел присутствующих, заметил добродушного толстяка с фотографией в руках и вышел.

В ту же секунду воздух хлестнули два выстрела. Зазвенели стекла, посыпавшись на пол. Жорес схватился за голову, на мгновение замер и грузно упал на левый бок.

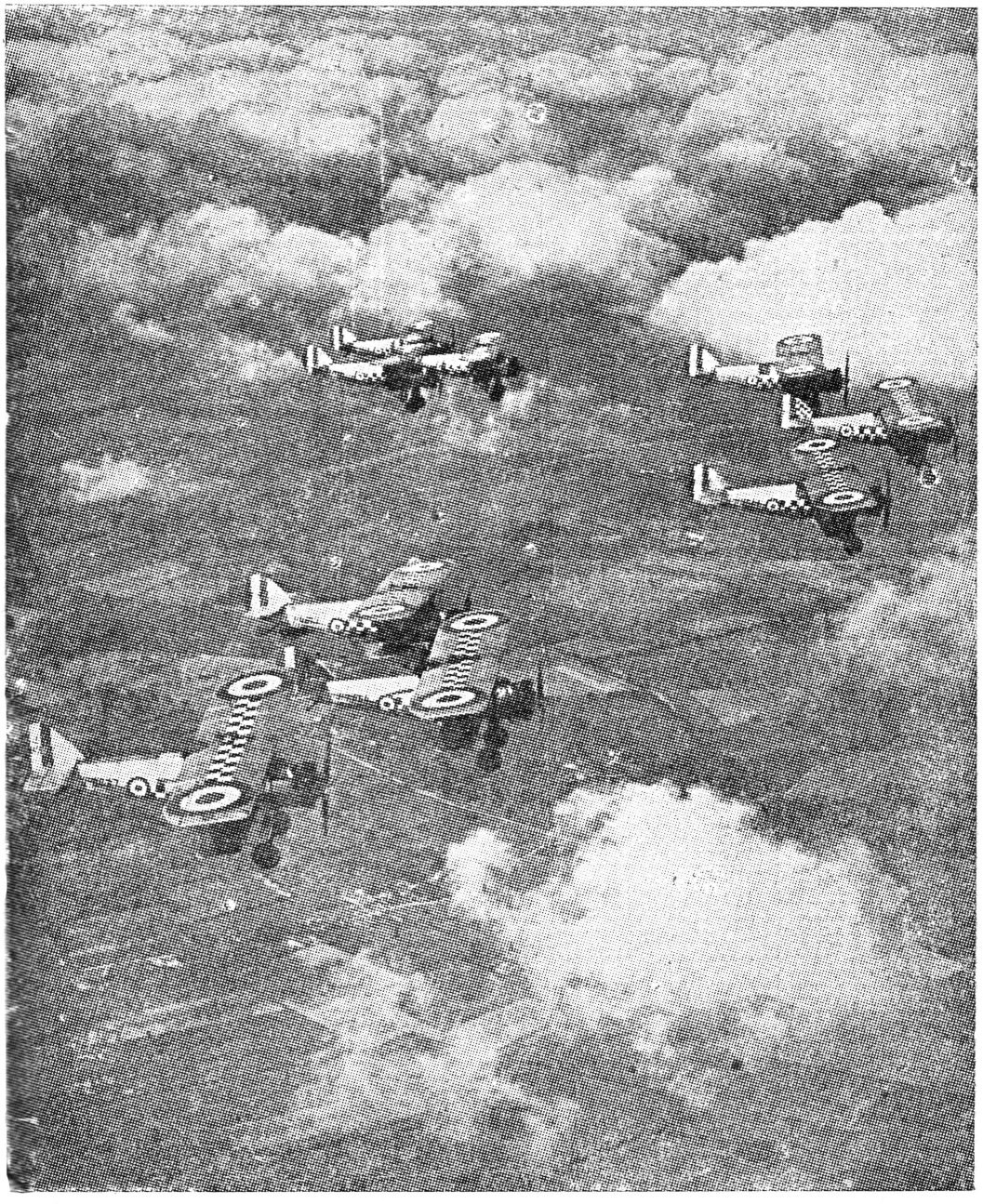
Чей-то пронзительный женский голос закричал:

— Жорес, Жорес убит!

Умирающего положили на стол. Сердце чуть билось. Жорес не проронил ни звука. Немедленно вызвали врача.

— Господа, Жорес умер, — объявил прибывший врач.

И началась война. Два выстрела парижского апаша были первыми из миллионов выстрелов мировой войны. Убийцу арестовали и установили личность. Рауль Виллен. Апаш. Сын секретаря гражданского суда в Реймсе, двадцати девяти лет. Арестованный при аресте разыграл признаки нервного расстройства, и его отвезли вместо тюрьмы в лечебницу. Он, конечно, вскоре выздоровел, и его отпустили.



Украденный мир

СЕВЕРИН

Рисунки В. Свешникова

МАРШАЛ В ОБИДЕ

Он бесспорно имел право на то, чтобы поселить свой прах в Пантеоне, рядом со всеми теми, кто так замечательно служил французскому оружию и французской бирже. Но он выбрал другое. Когда ему перевалило за восемьдесят, он оставил Париж. Он перенес свои последние годы в Бретань, где небо всегда серое, а люди малоразговорчивы. Здесь в деревушке он писал последнюю злую книжку. Здесь он и велел себя похоронить на деревенском кладбище. Тут его и зарыли, выбив на сером камне — «Жорж Клемансо».

Покойник был твердый человек. Он не пустил на свои похороны ни бывших товарищей по правительству, ни генералов, которые с ним

доделали войну, ни самого президента республики. За гробом могла итти только семья и верный лакей, а остальные могли смотреть, если им угодно, на это шествие с расстояния не ближе чем двести метров.

Этим серым камнем, этой провинциальной могилой, этой непроходимой дистанцией между бывшими друзьями и своим трупом господин Жорж Клемансо пожелал сказать всему миру, всем грядущим векам, что и за крышкой гроба нет примирения между ним и отечеством, что обиды остаются неотмщенными. Потому и не надо угла в Пантеоне.

Самоудаление в Бретань, суровый распорядок похорон, последняя злющая книжка заключили в себе персональную послевоенную обиду. О своей обиде заявил отечеству и маршал Фош. Он не соглашался на перемирие, даже когда немцы просили пощады. Он не хотел мира, не дав последней, самой благородной битвы. Он держал для удара больше сотни дивизий. Он должен был ринуться на германскую армию, смять ее, опрокинуть, перебросить через Рейн. И дальше — на Берлин. И еще дальше...

Маршал ни за что не хотел заключать перемирие, не войдя в Берлин. В перемирии с врагом, который сдавался на любые условия, но стоял на земле победителя, не было какой-то военной изюминки. Не так все это мечталось маршалу. Еще сто дивизий должны были выбежать из окопов. Еще один удар, самый компактный из всех ударов, и тогда может быть перемирие... Маршал уступил мечтательным настояниям министров, грубо бросив: «Вы украли у меня победу». Так он до последних дней жизни и говорил, что полководцы добывают победу, а потом дипломаты опошляют ее.

Клемансо не так резко, как маршал, проводил черту между миром и войной. Маршал был очень непосредственный рубака. Ему становилось скучно после того, как умолкали последние выстрелы. Клемансо, варившийся сорок лет под ряд в парламентских и министерских котлах, хорошо знал, что всякий мир при том социальном порядке, на который работали и он и маршал, — это только период подготовки к новой войне. Потому он и любил говорить: «Мир есть продолжение войны другими средствами». Маршалу стало не по себе, когда наступил день перемирия. У него опустились руки и увяли мозги. Но Клемансо не скучал: у него впереди еще было так много дела. У него впереди была напряженная война с Германией, которая временно называется миром.

МРАМОРНЫЙ ЛЕВ И ЖИВОЙ ТИГР

Они начали карьеру вместе. В одно и то же время первый был избран в парламент, а второй водружен на пьедестал. В предместьи Парижа, в Бельфоре поставили мраморного льва. На постаменте мраморного льва ничего не было написано. Да и не к чему тут было утруждать резчиков. Все и без того знали, куда глядит этот бельфорский лев.

Лев глядел в сторону Рейна. Оттуда пришли войска, которые взяли в плен самого императора и осадили Париж. Так вот во взгляде льва молодые поколения должны были читать, что лев еще ринется к Рейну и вернет Франции и славу, и контрибуцию с процентами, и лотарингскую руду. Клемансо начинал политическую карьеру одновременно с бельфорским львом. Сорок лет под ряд и он и бельфорский лев неуступчиво глядели в одну цель. Клемансо заседал в комиссиях, громил генералов за бездеятельность и сорок лет не уставал доказывать, что надо держать порох сухим, а пушки совершенными.

Он взял в свои руки власть тогда, когда германская армия прочно осела на одной трети Франции. Он не выпускал власти из рук до конца войны. Французский капитал хорошо знал, что это — самый твердый, самый тугоплавкий из всех работников, которыми он располагал. Германская армия не стояла лагерем вокруг Парижа. Фронт не был прорван. Но Клемансо сумел установить осадный режим и для Парижа и для всей той Франции, которою он управлял. Он так управлял страной, что старый сосед остерегался старого соседа. На каждом углу и в каждом доме у него был свой шпион. Он душил всякий голос протеста. Он не задумался отправить в тюрьму своих товарищей по партии только за то, что где-то, с кем-то поговорили не тем стилем, который он предписывал. А в дни, когда в последний раз приближалась опасность к Парижу, он, восьмидесятилетний старик, наводил неумолимую панику даже на видавших виды командующих армиями.

И вот остается результат сорокалетней работы. Несколько месяцев под ряд составляют мирный договор. Ни один проект не доходит ему до сердца. Ни в одном нет такой уничтожающей беспощадности, которая открыла бы французскому капиталу любые дороги в будущее. Клемансо, как гробовщик, измеряет каждый проект, и каждый проект ему кажется слишком просторным гробом для побежденного врага.

Мерка найдена. Тогда приглашают германских делегатов. Тогда Клемансо диктует им холодным голосом: «Война, которую вы нам навязали...»

Никогда не разговаривали так с побежденными на мирных конференциях. Но в этих словах — не только злоба, грубость, самодурство. В них больше. В них юридическое обоснование тех миллиардов, которые Антанта будет красть у Германии. В них предупреждение о том, что в тексте договора имеется статья, которая взваливает вину за четырехлетнюю бойню на совесть и на бюджет побежденного врага. Никогда не писали в таком стиле мирные договоры. Антанта называет себя «державами, одержавшими победу». Германия названа «государством, ответственным за войну». Раньше этого ни в одном договоре не писали. Все и без того знали, кто одолел, кто разбит. И без того все знали, что разбитого разрежут и ограбят. Но за зеленым сукном обе стороны встречались совсем как равные. И та сторона, которая разрезала и грабила, никогда не требовала, чтобы в договоре написали, что она победила и что во всем этом деле виновата другая, раздеваемая сторона.

Клемансо и вида не захотел сделать, что за зелеными столами Версаля с Германией будут говорить как с равной стороной. Он даже не был согласен на самую недорогую вежливость. Наговорив германской делегации злобных вызывающих слов, на которые, он знал хорошо, она не могла ответить, Клемансо протянул

Маршал уступил мечтательным настроениям министров, грубо бросив: „Вы украли у меня победу“.

объемистую книгу. Это был договор. Германской делегации предложили подписать его не читая.

В Версале с Германией не договаривались. Ее судили. У нее не спрашивали согласия на договор, как судья не спрашивает у подсудимого, согласен ли он подчиниться приговору.

Это был договор, который со всех сторон отвечал формуле мира Клемансо. Версальский мир продолжал мировую войну. Он продолжал ее на западе Германии, и на востоке, и в средней Европе, и на Балканах.

В Версале объявили преступником весь германский народ, всех неродившихся германских детей. После 1919 года в Германии уже не могли рождаться вполне германские дети. Могли рождаться только крепостные французского империализма. Первый крик новорожденного извещал окружающих о том, что начинает жить еще один вечный должник Парижа. В первый же день жизни ребенок мог записать на свой счет участие в грехе своей нации в несколько тысяч марок долга. Он будет платить, если найдет работу. Он будет платить, если не найдет работы. Его дети будут платить, если найдут работу, и будут платить, если не найдут работы.

В восемьдесят лет трудно достигнуть большего, чем организация Версальского мира. Разработав план войны, которая должна была продолжить Версальский договор, старик Клемансо пожелал отдохнуть от активной политики. Отдых он себе наметил в Елисейском дворце. Как раз оканчивался срок проживания предыдущего президента, и Клемансо считал, что вполне заслужил право стать президентом республики.

И тогда парламент и сенат, собравшиеся для выбора президента, провалили кандидатуру Клемансо. И Клемансо повернулся к отчизне спиной. Бельфорский лев остался на месте. Но Клемансо, которого за неистовый нрав прозвали в парламенте тигром, ушел доживать свой век в тихую деревню.

ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ МИРОМ

Обида казалась старому тигру слишком неожиданной, чтоб можно было остаться в хороших отношениях с дорогим отечеством. Лютость, в которой он безудержно упражнялся четыре года под ряд, несколько затуманила его мозги. Он не уловил некоторого перехода от войны к политике военного мира. Версальский мир, при котором Германия и дышать не могла, был конечно продолжением войны. Но продолжать войну в стиле прежней солдатской крутости, вечных окриков и угроз уже нельзя было. Добывать у побежденной страны эти деньги можно было двояко. С одной стороны — тут действовали оккупационные генералы, с другой — дипломаты на конференциях по репарациям. Генералы действовали просто. Германии назначили срок, и если в этот срок она не платила, генералы занимали города, закрывали реку, ставили свои караулы у заводов. Дипломаты должны были нести с собой не только сознание своей силы, но и великую подлость. Они должны были не только угрожать Германии, но и обещать, во всяком случае неопределенно намекать на то, что возможны лучшие времена, если, конечно, побежденная страна проявит максимум доброй воли.

Клемансо был по своему характеру больше солдатом, чем дипломатом. Он отвергал какую-либо дипломатию, какую-либо подлость в отношениях с Германией. На то они и побежденные, чтобы стучать кулаком и требовать, только грубо требовать и карать, если требования исполняются не тотчас.

Французскому буржуа этот односторонний метод казался несколько устаревшим и беспокойным. Французский буржуа голосовал за всестороннее искусство получать деньги с врага — и за силу и за душевность. Клемансо же остался при своей старческой лютости. Он сделался слишком тяжел даже для своих друзей. Он не стал таить обиду. Он о ней громко говорил. Он обвинял современность в том, что она оказалась ему не по плечу, что языку силы она предпочла язык уговоров. Он воззвал к доблести античного мира, которая не знала никаких компромиссов в обращении с врагами. Мир для Клемансо был продолжением войны, и он считал, что это продолжение ведется не в том откровенно-беспощадном стиле, который он возвел в культ высшего героизма французской нации. «Чихайте на немца, плюйте на немца, не позволяйте немцу сидеть в вашем присутствии. Немец сделает все, что должен, а не то... Помните, что у вас теперь самая сильная армия в мире. Никаких переговоров. Держите его за глотку, и в этом вся политика».

Но французский буржуа не рисковал сидеть на одной этой программе. Он стоял за всякие средства, потому что сделать Версальский мир реальностью было гораздо труднее, чем составить текст договора. Враг для французского буржуа был прежде всего долгий плательщик, но и при этом французский буржуа твердо знал, что Германия—это Германия, а не Конго, и потому на одних карательных экспедициях тут держаться не приходится. Французский буржуа стал опасаться слишком крутого стиля Клемансо, и потому Клемансо не получил ордера на въезд в Елисейский дворец. На пороге смерти заслуженный, но все еще не беззубый тигр увидел, что мирное продолжение войны ведется не так, как он это представлял себе. Маршал Фош сказал дипломатам: «Вы украли у меня победу». Клемансо с тем же основанием мог им сказать: «Вы украли у меня мой мир».

КОГДА СЕКУТ КАМЕНЬ

Он это самое и хотел сказать своей последней злющей книжкой, отказом от угла в Пантеоне, самоудалением из Парижа. Он повторял это каждому иностранному корреспонденту, который посещал его в Бретани.

Но все-таки украден ли был у него мир?

Старик преувеличивал свою обиду. Правда, ему не дали пожить в Елисейском дворце. Без этого ему, достигшему всего, было, конечно, трудно напоследок обойтись. Но вот насчет украденного мира, насчет недостаточно твердых современников старый тигр был явно неправ. В политическом завещании Клемансо оказался преувеличенным только стиль, но не суть. Версальское устройство Европы было и осталось идеальным с точки зрения Клемансо продолжением мировой войны.

Мраморный лев и живой тигр (Клемансо) начали карьеру вместе.

Если просмотреть европейский календарь за все эти тринадцать лет, то объективный человек никак не сможет не притти к выводу, что война не прекращалась ни на один день. Верно, не каждый день гремели выстрелы. Не каждый день наводились понтоны через Рейн. Не каждый день итальянцы врывались в Триест и поляки в Вильно. Но ни на один день не прекращалась подготовка к новой мировой войне. Ни на один день не покидало дальновидного политика сознание, что все же эти года имеют очень мало сходства с миром. Эти тринадцать лет с их парадами, маневрами, военной гонкою и конференциями благих намерений были мирным этапом на пути к новому побоищу, за новый передел мира. Иначе и быть не могло. Версалиэация Европы закрыла путь к другому будущему. Когда Германия узнала текст Версальского договора, она ужаснулась. А прежде чем ужаснуться, надо было глубоко удивиться.

Версальский договор был прежде всего ошеломляющей загадкою, а потом уже документом. Когда теперь читаешь этот документ, то сдается, что его писали не люди обычного мозгового устройства, а волшебники, которые из двух золотых монет могли сделать три. Есть старая восточная легенда о том, что какой-то султан, для того чтобы проверить добросовестность своих придворных мудрецов, дал им решить неразрешимую задачу. Он их предупредил, что проверить их будет некому, и он просто поверит их честному слову. Трое мудрецов сказали в тот же вечер, что они решили задачу. Четвертый заявил об этом через неделю. Пятый сидел над задачею двадцать лет, пока его товарищи наслаждались в звании министров, и на двадцать первый год расплакался и сказал, что задача абсолютно неразрешима.

Сочинители Версальского договора с самого начала сделали вид, что трудную задачу они решили легко и просто. Но даже самый непосредственный из этих мудрецов, покойный Клемансо, только твердо врал, когда говорил, что Версальский договор может быть выполнен в его неприкосновенном виде. Он был слишком бывалый тигр для того, чтобы всерьез верить в это. Версаль разбил Европу на взаимоистребляющие части. Он разгородил ее на тесные бедные клетушки, для того, чтобы французский империализм держал их под своей чугунной лапой. Он наставил новых таможенных барьеров. Он воздвиг между новыми и старыми странами китайские стены соперничества. Он раздробил экономическую систему на враждующие единицы. Он усердно позаботился о том, чтобы усилить эту вражду. Ему нужна была именно такая раздробленная Европа, Европа небольших, несильных государств, для того чтобы Франция стала самой могучей силой, гегемоном всей Европы.

Это простая и ясная мудрость грабителя с большой дороги. Пусть англичане управляют морями, а мы будем управлять Европой. Все нации сойдутся в Париже, и с вышки генерального штаба всегда будет видно, где горит и где можно поджечь. И всегда наши генералы будут ездить по столицам меньших государств, проверять работу их штабов, наши военные инженеры будут там строить орудийные заводы. Вся Европа покроется крепостями, которыми будет командовать французский генеральный штаб. Вот это будет мир. Каждый, кто попробует выступить против такого мира, будет немедленно стерт в порошок. Этот идеал кристально-прозрачен. Но дело ведь не только в том, чтобы французский генеральный штаб управлял крепостями Европы. В Париж должно еще стекаться золото со всех концов Европы.

Для того чтобы были уплачены версальские счета по репарациям, Средняя Европа должна процветать. День и ночь должны работать ее заводы и шахты. Даже банкам и биржам не хватит обычного рабочего дня. Только тогда Средняя Европа сумеет уплатить те миллиарды, которых требует Париж.

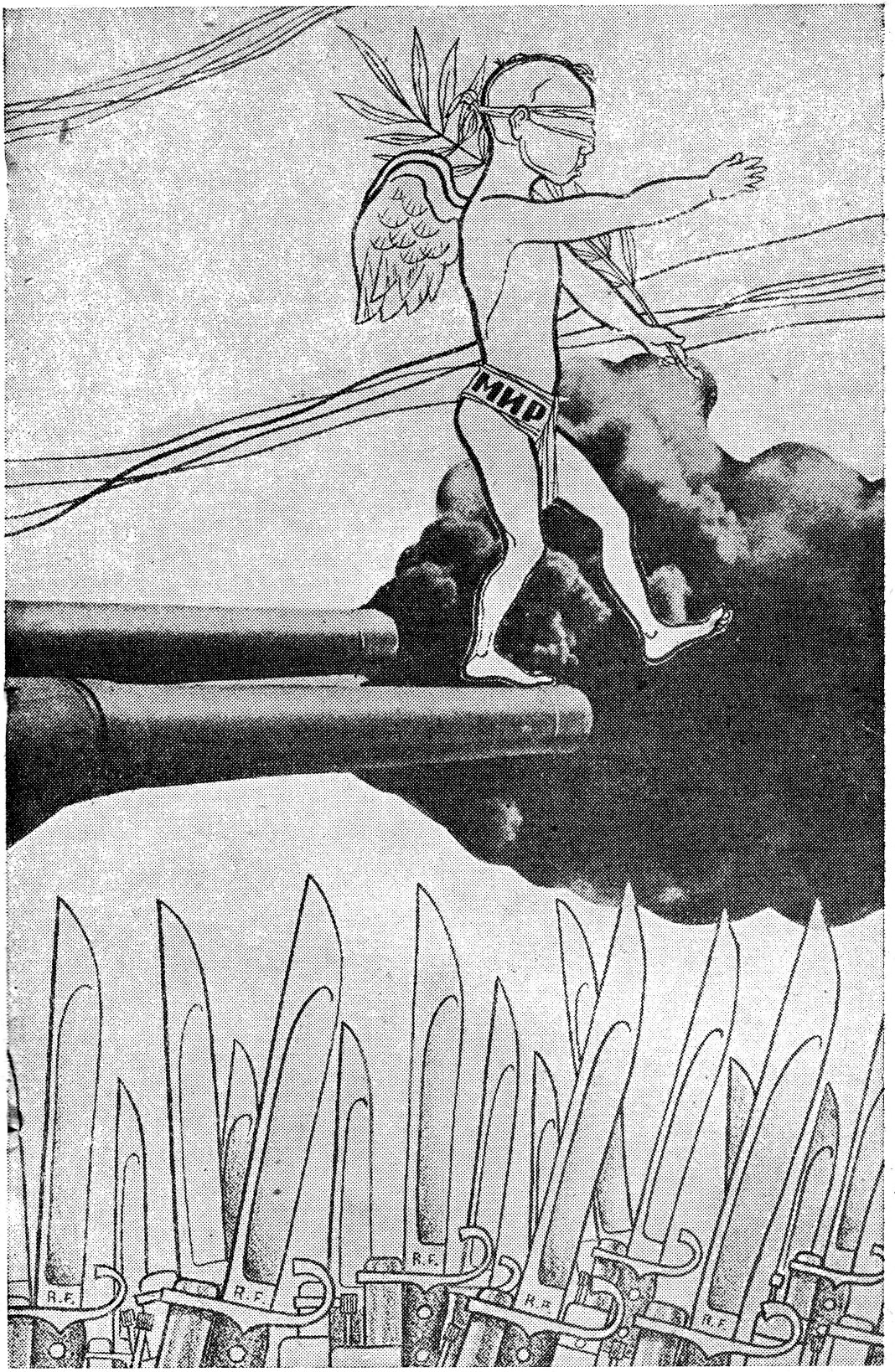
И тут начинается великая загадка. Германия должна платить. Целых два премьер-министра обещали своим избирателям, что они будут в полном достатке жить на счет Германии.

Если бы Клемансо обладал мрачным библейским красноречием какого-нибудь квакера, он, верно, сравнил бы Германию с первым человеком Адамом. Германия взяла на душу смертный грех и потому должна в поте лица искупить его. Только заплатив последний миллиард, она сможет надеяться вновь обрести себе место в лоне цивилизованных народов. Но Клемансо к библии не прибегал. Он без всяких сравнений утверждал, что отныне его сограждане смогут спокойно жить за счет согрешивших немцев.

В сорока километрах от берегов Франции, по ту сторону пролива это самое говорил тогдашний английский министр Ллойд-Джордж. У него шли выборы в первый послевоенный парламент. Он выкидывал необычайные лозунги для него, чтобы завоевать большинство обывательских душ. Ллойд-Джордж обращался и к их чувству справедливости и к их карману. «Кайзера повесим, а немец за все заплатит». С этим лозунгом Ллойд-Джордж разъезжал из одного конца Англии в другой. Так одна из центральных фигур войны сразу метила в двух зайцев. Во-первых, определен виновник войны, — себя английские империалисты считали чище снега, — во-вторых, обывателю обещана легкая жизнь.

У французского обывателя этот лозунг, вернее — второй пункт лозунга имел еще больше успеха. Немец должен был заплатить за все тревоги, и за то, что разрушили немецкие снаряды и французские снаряды, и за то, что в военном Париже было не слишком весело, и за то, что нехватало сахара, и за то, что был убит сын и двоюродный брат. В этот год жены французских буржуа, укладывая спать свое потомство, нежно говорили ему: «Расти, мой маленький, резвись, крепни, мы заставим немца работать на тебя». И маленький Пьер и маленький Жан с молоком матери всасывали твердую уверенность, что впереди у них — сплошное удовольствие и никаких забот, что какое-то обузданное чудовище будет их вечно кормить, наряжать и покупать им билеты первого класса.

Итак, двум нациям была обещана на выборах правильная жизнь за счет нагрешившего перед историею немца. Только одно забыли или не захотели определить первые министры: а как же все-таки справится немец с этой нелегкой задачей? Пусть грешник горит желанием искупить свою вину, пусть он согласен работать день и ночь. Но... но... ему ведь негде



Эти тринадцать лет с их парадами, маневрами, военной гонкою и конференциями благих намерений были мирным этапом на пути к новому побоищу, за новый передел мира.

работать. Да, негде работать. Победители ждут от него огромных миллиардов, но они ведь отняли от него целых три металлургических базы. Немец остался при угле, но без железа. Кроме того, в Версале у немца отобрали весь торговый флот и все колонии. В Версале его обязали отдать победителям тысячи паровозов, тысячи вагонов, несметные составы угля, у голодающих немецких детей отняли сотни тысяч коров. Это называлось поставками натурой и стоило Германии миллиардов двадцать с небольшим.

Но этого было мало. Немец еще должен был платить чистыми деньгами. В Версале сумму его долгов не подсчитали. Это должна была сделать комиссия экспертов. Через два года она представила свой счет. Победители определили, что Германия должна им 132 миллиарда золотых марок. В этом и состояла неразрешимая задача Версаля. Германия без металлургических руд, Германия без торгового флота, Германия, лишившаяся мировых рынков, должна была выжимать из себя миллиарды.

Замечательный русский сатирик Салтыков-Щедрин рассказывает про одного бюрократа, который замыслил невозможное дело. Когда ему говорили, что его дело — то же самое, что сеять рожь на камне, он, сердясь, отвечал: «И будем сеять, и посеем!..» — «Но ведь рожь не вырастет на камне, ваше превосходительство», — возражали подчиненные. «А мы тогда камень сечь будем», — твердо говорил бюрократ. «Но ведь от этого рожь не вырастет, ваше превосходительство», — урезонивали чиновники. «А мы опять будем камень сечь», — не сдавался бюрократ.

Когда открылось, что Германия никак не сумеет выжать из себя миллиарды, французские империалисты принялись неистово сечь камень. Немцы не могли работать без железных руд. А победители, чтобы заставить их платить, отняли еще топливо. Через Рейн были наведены понтоны, и генерал Дегут занял Рур.

Так в Англии последовательный кредитор переезжает на квартиру к должнику, занимает лучшую комнату и заявляет: «Я буду у вас жить и вы будете меня кормить до тех пор, пока не уплатите долг».

ОТКРОВЕНИЕ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ

Не один буржуазный политик хвалился тем, что он установил в свое время неразрешимость Версальского договора. Каждый из них первым прозорливцем считал именно себя. Это он, пока другие были еще слепы, открыл, что в Версале сочинили не мирный договор, а неразрешимую задачу, что управляемая этим загадочным договором Европа никогда не будет спокойна и счастлива.

И верно, вскоре после Версаля начали выходить эти книги с острыми названиями и очень желчными страницами. Какой там мир, если имеются опасные очаги войны, если жгуче враждуют и большие и малые силы! Какое там благополучие, если Германия никогда не примирится со своей уродливой восточной границей, если Литва никогда не признает захвата Вильна, если Италия будет одновременно целить и во Францию и в Югославию, если Македония осталась пороховым погребом Балканского полуострова, если Австрия и Венгрия зажаты в неприятельском кольце, если, наконец, Франция и впредь будет поддерживать свое господство на разжигании противоречий и вражды.

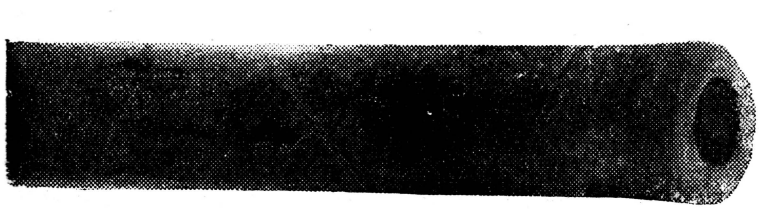
Как правило такие книги писали тогда, когда обрывалась карьера этих политиков и уже не было надежды, что она скоро возобновится. Только тогда и начиналась прозорливость этих государственных мужей. Ллойд-Джордж сам был сочинителем Версальского договора. Но вот либералы сошли со сцены — и Ллойд-Джордж, получив бессрочный отпуск, написал книжку о том, что в Европе и не пахнет миром. Франческо Нитти управлял послевоенной Италией; но когда фашисты выбросили его из Италии, он написал такую же пессимистическую книжку. Первые годы после войны Кайо жил в изгнании, куда послал его Клемансо, бывший товарищ по партии и правительству. Прощение Кайо еще не выходило, и он написал книжку о том, что Европа катится к гибели. Когда Кайо наконец простили и он снова сделался французским министром, он стал наравне с прочими управлять этой гибельной системою и прекратил зловещие предсказания. Он возобновил их тогда, когда снова получил отставку. Если бы Ллойд-Джордж и Нитти снова вернулись к власти, они тотчас возобновили бы свою деятельность в прежнем направлении, не внеся в роковую систему спасительных исправлений. Они взяли бы власть, они надавали бы обещаний разогнать тучи над Европой и ни одну не сдвинули бы с места.

Эта историческая задача выше их, выше их класса. Версальский договор — не продукт личной злобы одного человека, не результат сорокалетних исканий одной сильной личности, не тяжелая ошибка группы людей, ошибка, которую можно исправить. Один человек, одна личность, взвод сильных личностей могли начинить Версальский договор особыми подробностями, они могли внести в систему послевоенной Европы особую деталь, взращенную их злобой. Они могли накричать на мирную делегацию побежденного врага, они могли писать вызывающие ноты побежденной стране.

Но дело не в этом стиле и не в этих подробностях. Империализм не мог не притти к Версальскому тупику. В этом договоре, который казался его сочинителям высшим триумфом победителей, отразились, как в зеркале, все неустранимые противоречия эпохи монополистического капитала. Как «война — неизбежная ступень капитализма» (Ленин), так и Версальский договор не мог не стать сгустком неизбежных противоречий, прокладывающих монополистическому капиталу прямую дорогу к новой мировой войне. В Версале две крупнейших империалистических силы обрушили свой кулак на Германию. Франция добивалась разгрома Германии для того, чтобы стать гегемоном Европы; Англия добивалась того же для того, чтобы раз навсегда убрать Германию с морей и с мировых рынков.

Эта часть задачи была решена. Германия была обессилена на западе и на востоке Европы, военную мощь Германии низвели к величине, близкой к нулю, с запада и востока, а также из центра Европы, ее окружили оружием и армиями, которым она почти ничего не могла противопоставить. У нее отняли весь военный флот. У нее отняли весь торговый

ЕШЬТЕ,
ПЕЙТЕ,
ВЕСЕЛИТЕСЬ,–



РАБОЧИЙ
ЗА ВСЕ
ЗАПЛАТИТ

флот. Послевоенный котильон самоубийств миллионеров открыл германский миллионер, гамбургский судовладелец Август Баллин. Ему нечего стало делать после того, как Германия потеряла выход к мировым торговым путям.

Но в этом содержалась еще только половина задачи. Другая половина состояла в том, чтобы заставить Германию уплатить с лихвою все расходы по войне, которая освободила Англию от опасного конкурента и сделала Францию «жандармом Европы». Германия сама должна была заплатить за ее устранение с мировой арены.

И Франции и Англии нужна была ослабленная Германия, но ослабленная страна никогда не сможет заплатить эти миллиарды. Платить сможет только та Германия, которая будет крепко связана с мировым рынком. Для того чтобы уплачивать репарации, Германии нужна иностранная валюта. Для того чтобы добыть иностранную валюту, Германии нужно много вывозить. Но когда она будет много вывозить, она снова станет экономически сильной страной. А это никак не улыбалось ни Англии ни Франции. Не за то боролись.

Здесь снова мудрость Версаля становится как древняя восточная притча о неразрешимой задаче. Но на этот раз она ближе подходит к притче о бедной женщине, которая пришла просить совета у святого человека. Бедная женщина пожаловалась ему на то, что у нее нечем кормить детей. Святой человек посоветовал ей печь лепешки. «Но у меня нет муки», сказала женщина. «Тогда не пеки лепешек», — невозмутимо ответил святой человек. «Но дети просят есть», — еще раз пожаловалась женщина. «Тогда пеки лепешки», — еще раз посоветовал святой человек. Победителям хотелось, чтобы платила запертая со всех сторон, захиревшая Германия. Это явный парадокс. И тогда начинаются бесконечные разговоры о том, что без муки нельзя напечь лепешек, что без вывоза Германия ничего не заплатит, но вывозящая Германия опасна, как воскрешенный враг.

Правда, самые твердолобые версальцы пытаются остаться на прежних позициях. Они ведут себя так, как будто история и не рождала проклятого вопроса о муке и лепешках. «Матэн» или «Журналь» посылают на две недели в Германию специального корреспондента, и он, пошлявшись по кабакам, побывав на бегах и в театрах, пишет в Париж разоблачительные статьи.

«У них есть мука для лепешек, — уверяет корреспондент, — и не только мука. Они платят по двадцати марок за бутылку нашего шампанского и не хотят платить репараций. Они платят по сто марок за ложу на спектакль знаменитого певца, но не платят за то, что они сожгли, разгромили, уничтожили на нашей земле. Они отдадут двести марок лучше тотализатору, чем восстановлению наших разрушенных городов».

Но кто это «они»? О ком пишет неистовый корреспондент? Кто пьет в голодающей Германии шампанское и играет на бегах и в самой дорогой ложе наслаждается пением Шаляпина? Все шестьдесят пять миллионов немцев или только друзья и родственники Стиннесов, Кленкнеров, Тиссенов и сами эти магнаты, которые за спиной правительства могут отлично договориться с генералами-оккупантами? Почему корреспондент не побывал в тех кварталах, где уже давно нет денег на кружку пива и теперь не стало денег на пакетик сухих дрожжей, которые заменили германским детям и мясо, и масло, и молоко? Корреспондент не был там потому, что не туда его послали. У него была другая миссия. Ему надо было привести оправдание тем нотам, которые тогда писал Пуанкаре. А Пуанкаре в каждой своей ноте утверждал тогда: «Мы убеждены, что германское правительство не только не выполняет своих обязательств, но что оно их не выполняет с сознательным умыслом» и т. д. А посему будут заняты германские города, список которых приложен.

Но твердолобые версальцы не сумели пробить брешь в логике истории. Ворваться к портному в дом, забрать у него машину и объявить, что он не получит машины до тех пор, пока не заплатит долг — еще не значит найти решение безнадежной задачи.

ЛЮБЕЗНОСТЬ НЕЗРИМОГО ХОЗЯИНА

Когда была постигнута эта мудрость, пошли конференция за конференциею. Канны, Лондон, Генуя, Гаага, Брюссель, Париж, опять Гаага, опять Лондон, опять Париж. Нынешняя Лозаннская конференция была тридцать пятой по счету репарационной конференциею. Одни конференции разъезжались ни с чем, другие утверждали план платежей, который также в конце концов оказывался ничем. Американский адвокат, заработавший в интендантстве чин генерала, Дауэс выработал свой план. Этот план существовал пять лет и задачи не решил. Американский банкир Оуэн Юнг выработал свой план. Этот план существовал три года.

План Юнга должно сменить лозаннское соглашение. Сочинители этого плана трубят во все стороны, что теперь-то найдено настоящее реальное, верное разрешение тяжелой задачи, выпавшей на плечи послевоенной Европы. С Германии требуют на репарации уже только три миллиарда марок. Это — весь остаток того греха, о котором говорится в ст. 231 Версальского договора. Правда, германские делегаты попытались вычеркнуть полностью эту статью, но победители пожелали сохранить ее на всякий случай. Случай может представиться очень легко. Лозаннское соглашение только тогда получит силу, если его утвердят парламенты всех подписавшихся стран. Если хотя бы одно правительство не соберет большинства, лозаннское соглашение объявляется небывшим и Европа остается при плане Юнга.

Но и тут еще не конец. Незримым хозяином в Лозанне был американский капитал, у которого в долгу и Франция и Англия. Соглашаясь на уменьшение германского долга, и Франция и Англия более чем прозрачно намекали на то, что американский капитал простит или почти простит им долги. Кто-то предложил даже стереть губкой все межсоюзнические долги, словно их никогда и не было.

— Долги стереть?—удивляются в Америке.— Вы приобретали металлургические районы, делили колонии, увеличили торговый флот, а мы за это плати?

Нет, американский капитал не согласен на губку. Он желает получить и долги и проценты по долгам. При этом он очень любезен. Он согласен указать Англии и Франции простой и верный способ собрать деньги на уплату долгов.

— У вас будут свободные деньги, — говорят американские политики, — стоит только сократить вооружения...

Но победители приходят в тихую ярость от этой простоты. Они знают, что за ней скрывается.

С КЕМ ЖЕ ПОЙТИ НА ГРАБЕЖ?

Пусть Лозанна останется Лозанной, а не состоявшейся конференцией, но Версальский узел все еще останется тугим, как железо. Тринадцать лет и особенно три года всеобщего кризиса понадобились на то, чтобы победители согласились на Лозанну и не требовали астрономических миллиардов, которых Германия все равно никогда бы не уплатила. Если даже одним махом стереть губкой межсоюзнические долги, то и тогда империализм останется в том же темном тупике, куда завела его мировая война.

Война произвела перемещение сил. Вчерашняя Америка, богатая, сильная, но как бы провинциальная страна в семье матерых захватчиков, сегодня сделала заявку на мировое господство.

Сто лет назад она удовлетворилась дерзким по тому времени лозунгом: «Америка для американцев». После войны этот лозунг звучит иначе: «Весь мир для американского капитала». На пути американской империи стоит Британская империя. Столкновение между ними неизбежно. Это завтрашний день истории империализма. Если бы в войне победила не Англия, а Германия, то Америка скрестила бы шпагу с Германией. Теперь этот удар придется принять на себя английскому империализму.

Который это будет год? Эта дата еще не отмечена в календарях, но история неумолимо идет к ней. Спешит к ней американский империализм, который добился права сравнять свой военный флот с английским. Ждут этого дня и на берегах Темзы. Ждут и говорят, что он невозможен, этот день. Так за три дня до мировой войны английский министр Асквит говорил, что война совершенно немыслима. Борьба Америки с Англией пойдет за мировые пути сообщения, за мировые источники сырья, за мировые рынки, за английские доминионы, за Канаду, которую уже теперь в Вашингтоне считают «северным продолжением Соединенных штатов», за мировое господство.

Если бы французский империализм воспылал невероятным для своей природы желанием остаться в стороне от этой гигантской бойни, это счастье не было бы ему дано. После войны Франция стала в ряду мировых сил. У нее колонии, у нее океанская база, у нее заморские источники сырья. Ее богатства, ее ресурсы будут вовлечены в эту схватку. Англия или Соединенные штаты неизбежно попытаются опереться на них. Нейтралитету здесь нет места. И французские капиталисты и дипломаты и французский генеральный штаб отлично это учитывают. Они знают, что Франция будет драться. Надо выбрать, с кем и против кого. Надо скорее выбирать, чтобы не быть застигнутым врасплох.

С кем можно будет больше награбить? С кем безопаснее связать свою судьбу? Ответы на эти два вопроса и определяют выбор Франции.

Английский империализм ищет союзников для драки. Без союзников ему не обойтись. Но союзников покупают не сердечным обращением, а более существенными благами. Английский империализм уже не может так дорого платить союзникам, как раньше. Он стал беднее, он стал слабее. Французский империализм пытается сам назначить цену за свою помощь.

— В борьбе с Америкой, которой и мы и вы должны большие миллиарды, нужна крепко сколоченная, единая Европа, — говорят французские империалисты Англии. — У этой крепко сколоченной Европы должен быть один руководитель.

Этого они открыто не говорят, но всем и без того понятно, что в руководители единой Европы метит французский империализм. Этот руководитель очень не по душе Лондону. Лондон всегда был против того, чтобы кто-нибудь один (за исключением конечно Лондона) командовал континентальной Европой. Вот почему английские капиталисты так неприветливо отнеслись к затее Бриана организовать «Пан-Европу». Лондон никогда не был в восторге от того, что кто-нибудь заметно усиливался на европейском континенте. В январе 1923 года Лондон дал согласие на то, чтобы французские войска заняли Рур. Этот богатейший промышленный район мог усилить позицию Франции на континенте. Но едва армия Дегута переправилась через Рейн, как английский посол в Берлине, лорд д'Абернон, начал вторую часть игры. Он мило поддерживает проект германского правительства остановить всякую жизнь в оккупированном районе. Шахты не работают, трубы не дымят, конторы закрыты. Пассивное сопротивление требует огромных расходов. Германский бюджет не может их выдержать безболезненно. Но английский посол советует не унывать. Он рекомендует продолжать пассивное сопротивление. Он намекает (дипломаты ведь главным образом намекают, а не говорят) на возможность поддержки. Он не говорит открыто (дипломаты ведь говорят открыто только тогда, когда объявляют войну), но дает понять...

Пассивное сопротивление продолжается. Французы не могут наладить в Рурской области нормальную промышленную жизнь. Германский бюджет не выдерживает колоссальных расходов. Но этот лорд с глазами мыслителя и бородою апостола советует... Потом марка стремительно, без передышки, летит под гору. В немецких лавках считают на миллиарды, на триллионы. Французы пытаются пустить рурскую промышленность. Им это отчасти удается. Но теперь Лондон гонит под гору французский франк. Тогда это было еще в возможностях Лондона. Двухсторонняя игра останавливается на том, что Франция и Германия идут на соглашение.

Для Лондона это была беспроигрышная игра, которая обессиливала не только Германию, но и Францию. Британские острова оставались в стороне, они не несли никаких расходов. Об этой игре полезно вспомнить теперь, когда вновь сколачивается распавшаяся англо-французская Антанта («сердечное согласие»). В этом согласии гораздо больше вечных противоречий, чем сердечности. Скорпионы, брошенные в одну банку, в согласии жить не будут. Но времена уже не те. Англии пришлось кое-чем поступиться. Франции удалась цепь своих вассальных государств. Ее генеральному штабу подчинены армии Польши, Чехо-Словакии, Румынии, Югославии. Она господствует и на Балканах и на подступах к Балканам. В ее возможностях имеется и большее. У нее самый сильный в мире военный воздушный флот и самый сильный в мире подводный флот.

Она может принудить к бездействию английский линейный флот или даже открыть ему дорогу на дно. Она может держать Англию под вечным террором воздушных нападений. Потому-то на конференции по разоружению английские делегаты красноречивее всего говорят о бесчеловечности воздушной и подводной войны.

БЕЛЬФОРСКИЙ ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖКУ

В воскрешенном англо-французском согласии гораздо больше разъединяющих, чем объединяющих элементов. Объединяет одно — оппозиция американскому империализму, а разъединяет — все остальное. Расписываясь в своей сердечности, английский империализм никогда не откажется от возможности ставить палки в колеса французским империалистам. Лондон никогда не забудет, что у него в резерве есть Италия, сила непримиримо враждебная французскому империализму. Правда, Италия, которая протягивает руки к африканским владениям Франции — гораздо более слабый союзник, чем Франция. Все же с ее помощью можно в случае чего отрезать Францию от Средиземного моря.

Но есть в мире одно место, заветное место, за счет которого и Париж и Лондон надеются изгнать всякую сомнительность из своего безрадостного согласия. Это место — одна шестая часть мира. Это место — мы, страна, строящая социализм. Проект такого окончания кризиса родился сразу после Октября. В Версале живой Фош расхаживал по коридорам. Он водил старческим перстом по карте и доказывал, что, получив столько-то дивизий, он в такой-то срок пройдет походным маршем через Германию и уничтожит военную силу большевиков и самих большевиков.

Но империалисты должны были тогда отказаться от услуг маршала, потому что не могли дать ему «столько-то» вполне надежных дивизий. Они очень боялись, что в «такой-то» срок дивизии маршала обернутся против них. Эти опасения были, что и говорить, очень справедливы. Когда французский империализм замыслил присоединить к своим владениям Донбасс, Украину, черноморские порты, его военный флот, посланный в Одессу, поднял красный флаг.

Но до сих пор французский империализм не отказался от надежды поставить своих часовых в донецких шахтах и на южных заводах. Он настойчив не только в замыслах, но и в действиях. Мы слышали об этом тогда, когда судили шахтинцев, промпартию, меньшевиков. Мы убеждаемся в этом каждый день. Французский капитал метит на нашу южную металлургию, на наш уголь, английский капитал — на нашу закавказскую нефть. Так они собирались и собираются делить наши богатства. Французский капитал совсем не прочь стереть губкой его долги Америке, но все еще надеется заставить нас платить миллиарды, одолженные царем у парижских банкиров до войны и во время войны. Это — программа-максимум французского империализма. Ему нужна крепкая Европа, Европа под его началом для того, чтобы от проекта перейти к интервенции.

На пути организации такой Европы стоит Германия. Германский крупный капитал не отказался от сотрудничества с французским империализмом, но потребует награды, и немалой. Ему надо дать то «место под солнцем», которое он потерял после мировой войны. Ему нужны рынки для большого экспорта. И французские и английские империалисты не могут сразу решиться на такую награду.

Это сегодня, а завтра может произойти сговор. Ученые экономисты империализма высчитали, что падение советской власти может дать капиталистам пятьдесят лет работы. Полвека высоких прибылей! Полвека без эпидемии банкротств! Полвека высоких цен на товары! Ради этого стоит рискнуть, тем более, что другого выхода из кризиса не видно. Чем дальше, тем с большей откровенностью говорят об этом. Капитал не отказывается от услуг пацифизма, который своей мирной проповедью разрушает сознание масс. Но этого уже мало капитализму. Три года назад пацифист Ремарк написал роман, который разошелся в миллионах экземпляров. Ремарк и не подумал сказать, как надо бороться с опасностью новой войны тем, кто искренно хочет предотвратить эту беду.

Но буржуазии показалось, что Ремарк нагородил слишком много ужасов. О войне надо писать бодрее. И вот теперь выходят бравурные «бодрые» романы о войне с генеральскими предисловиями. Французские маршалы заседают во французской Академии наук. Когда выбирали в эту академию начальника французского военного воздушного флота маршала Петена, поэт Валери произнес речь на тему об «очищающей войне».

Нельзя сказать, чтобы с господином Валери были согласны те, кому предстоит вынести на своих плечах эту «очищающую войну». Ни один сбор запасных во Франции не происходит без открытой антивоенной демонстрации. Бельгийские солдаты братаются с забастовщиками, в которых начальство приказало им стрелять. Финляндский офицер, ведя солдат в казарму, приказывает им петь патриотическую песню, и солдаты молчат. Тогда он разрешает им петь, что они хотят, и они поют «Интернационал».

Потому-то капитализм должен сразу носить две одежды: военный мундир и рясу пацифиста. Удвоение военных бюджетов, чудовищные приготовления Франции к войне одни трубадуры капитализма оправдывают необходимостью «очищающей войны». Но другие трубадуры, которые стоят ближе к массам, говорят о том, что это делается ради безопасности.

Франция, оказывается, недостаточно защищена. Вспоминают слова Фоша: «Дайте мне границей Рейн. Я буду защищать ее с шестью дивизиями, а вы там можете разоружаться». Но мы крепко знаем, что, получив Рейн, Фош потребовал бы Одер, а потом Западную Двину, а потом Волгу, и границы французского империализма раздвинулись бы до пределов сказочной империи Александра Македонского. Хорошо воевать под лозунгом безопасности!

Нет, тенью Фоша никого не обмануть. Мы знаем, что все пятьдесят выстрелов в минуту новой винтовки империализма, вся тысяча пулеметов, которой обладает его нынешняя дивизия, все его новые пушки, газы и самолеты направлены нам в сердце.

Пока еще жив империализм, мир остается украденным у человечества. Бельфорский лев готовится к прыжку. И крепко должны мы держать винтовку, чтобы принять его прожорливое тело на наш штык.

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда". Сектор „Комсомольская правда"
Отв. редактор **А. Понєвежский**.
Зав. редакцией **И. Бражнин**. Руковод. оформл. и технич. частью журнала **В. Свешников.**

Сдано в производство 22/VIII. Подписан к печати 21 IX Количество знаков в листе 97696
Ленгорлит № 45797. Ст-ф. 72×110. Тираж 50.000 Печ. л.—6. Заказ № 7 47

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“

СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

Вокруг Света

Выходит 2 раза в месяц

Большевики делают новую географию: строят реки, каналы, озера, осушают бесплодные болота, орошают пустыни. Камо-Печерский и Волго-Донской водные пути соединяют Черное море с Северным ледовитым морем. В далекой Сибири зажгутся огни Ангары, превышающей по мощности Днепрострой в двадцать раз. **„ВОКРУГ СВЕТА“** расскажет на своих страницах о новых стройках, о новых заводах, электростанциях, о борьбе советских пролетариев и советских ученых с засухой, песками, об освоении солнечной энергии и ветра.

В Таджикистане, в Казакстане, в Дагестане, в Карелии, в Якутии, на далеких окраинах идет стройка. Молодежь окраин включилась в трудную борьбу за новый советский быт, за новые формы жизни на наших окраинах. **„ВОКРУГ СВЕТА“** расскажет об этой героической борьбе, расскажет о людях, которые ее ведут.

О гражданской войне расскажут на страницах **„ВОКРУГ СВЕТА“** ее участники, ее герои в своих воспоминаниях.

Под Москвой уголь, под Ленинградом торф, под Курском железо. Каждая республика, каждая область хранит в своих недрах неисчислимые запасы полезных ископаемых. Мы должны их разведать и добыть. Мы должны изучать свой край. Молодежь, комсомольцы должны быть передовым отрядом разведчиков-краеведов.

В Институте народа Севера учатся больше ста молодых чукчей, тунгусов, юкагир. Они пришли из тайги, от далекого Берингова моря, от прибрежий холодного океана. Они пришли в Ленинград за тысячи километров. Они расскажут на страницах журнала **„ВОКРУГ СВЕТА“** о работе Советов за полярным кругом.

Комсомольская экспедиция в Гренландию отправляется в 1932 году. Комсомол включается в поход за освоение Арктики. **„ВОКРУГ СВЕТА“** уделяет большое внимание научно-исследовательской работе советских и зарубежных ученых, дает большой материал об экспедициях, путешествиях и открытиях.

О второй пятилетке, о каменном угле, железе, золоте, меди, нефелине, скрытых в горах и долинах нашей страны, о странах совсем нам неизвестных, о далеких колониях, о борьбе и жизни зарубежного комсомола,— **обо всем этом расскажет своему читателю в занимательной, интересной форме „ВОКРУГ СВЕТА“, журнал революционной романтики, краеведения, экспедиций, путешествий и научных открытий.**

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

на 12 мес.—4 р. 50 к., на 6 мес.—2 р. 25 к., на 3 мес.—1 р. 15 к.

Цена отдельного номера—20 коп.

Подписка принимается всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносцами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды“.

Цена 1 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА" СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА"

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

БОРЬБА МИРОВ

Два мира. Две силы. Отмирающий капитализм и социалистическая система. Они ведут последний и решительный бой. Капиталистические страны охвачены жесточайшим кризисом. Закрываются фабрики и заводы, лопаются банки, идут с молотка разорившееся крестьянские хозяйства. Рабочие среди изобилия, созданного их руками, умирают с голода. Социалистическая система не знает кризиса. Каждый день вступают в строй все новые и новые заводы. Растут новые города. Главная и основная задача журнала **„Борьба миров"** показать во весь рост эти две системы, революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола.

Латвийские палачи убили комсомольца Гедриса. Умирая Гедрис сказал: „Убьют нас, но разве можно убить комсомол! За нами идут другие. С каждым днем нас все больше и больше. Наши силы растут".

Зарубежный комсомол несмотря на жесточайший террор ведет героическую революционную борьбу. Наша задача показать зарубежный комсомол, показать его рост, его работу, его борьбу, его победы.

Журнал **„Борьба миров"** должен показать две техники, рассказать о нашем враге, о вооружении буржуазии, о борьбе на научном фронте.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ „БОРЬБА МИРОВ":

На 12 мес.—**5** р. **40** к., на 6 мес.—**2** р. **70** к., на 3 мес.—**1** р. **35** к.
цена отдельного номера **50** к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносцами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды".

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Орган ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ

Двухнедельн. журнал интернационального воспитания молодежи и международного юношеского движения

Рассчитан на широкие массы комсомольского актива

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

— Дает руководящие статьи по вопросу международного революционного движения и политических событий.

— Ставит, освещает и дискуссирует проблемы международного юношеского и детского движения.

— Помогает местным комсомольским организациям обмениваться своим опытом интернационального воспитания трудящейся молодежи.

— Освещает методику интернациональной работы и дает консультацию по всем вопросам интернационального воспитания и связи.

— Дает на своих страницах очерки и повести, отражающие в художественной форме жизнь и борьбу зарубежной комсомолии.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 6 мес.—3 р., на 12 мес.—6 р.

Цена отдельного номера—25 коп.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Ежемесячный орган ИК КИМ и ЦК ВЛКСМ